



Илья Хан

**Сципион
Африканский.
Щит и меч Рима**

Илья Хан

**Сципион Африканский.
Щит и меч Рима**

«Автор»

2026

Хан И.

Сципион Африканский. Щит и меч Рима / И. Хан — «Автор», 2026

Исторический роман о величайшем полководце Древнего Рима, Публии Корнелии Сципione Африканском. Действие начинается в 235 году до н. э., в эпоху хрупкого мира после Первой Пунической войны, когда Рим, оправившись от кровопролитной победы, уже готовится к новым вызовам, ещё не подозревая о грядущей угрозе со стороны Карфагена. В центре повествования — судьба двух избранников судьбы. В Риме, в доме Корнелиев, рождается Публий Сципион, чьё появление отмечено таинственным знамением — посещением священного змея, посланника Юпитера. Одновременно в Карфагене юный Ганнибал Барка, сын Гамилькара, даёт у алтаря Баала-Хаммона клятву вечной ненависти к Риму. Боги обеих цивилизаций вступают в незримую борьбу, наделяя своих героев дарами и предопределяя ход истории. Первая книга цикла закладывает фундамент легенды о Сципione Африканском — будущем победителе Ганнибала и спасителе Рима .

© Хан И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Введение. Римский мир после прошедшей бури.	5
Глава 1. Змей Юпитера.	8
Глава 2. В доме Корнелиев. Рим и Карфаген.	14
Глава 3. Учитель и Бог.	23
Глава 4. История Ганнибала.	30
Глава 5. Дар богов.	46
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Илья Хан

Сципион Африканский. Щит и меч Рима

Введение. Римский мир после прошедшей бури.

*И высоко, наблюдая из Эфира, глядя на колыбель будущего триумфатора, Юнона с холодной улыбкой прошептала слова, что будут преследовать его всю жизнь: «Audentes fortuna iuvat»
(Держающим судьба помогает)*

В 235 году до нашей эры Римская Республика, еще не знала о своем будущем статусе империи, но уже находилась в лучах славы после тяжелой победы над Карфагеном. Это был год обманчивого затишья перед тем, как ураган второй Пунической войны едва не снесет Рим навсегда. Спустя всего лишь семнадцать лет этот хрупкий покой будет растерзан в клочья ревом боевых слонов в снегах Тразименского озера и душераздирающими криками пятидесяти тысяч римлян, сложивших головы при Каннах. Но пока что Рим, после победы в двадцатитрехлетней войне, восстанавливался, набирался сил и дышал свободно. Главным событием тех лет для Рима было окончание первой Пунической войны (264–241 гг. до н. э.). Это было первое в истории столкновение двух принципиально разных цивилизаций, а также противостояние преимущественно сухопутного римского войска против мощного морского карфагенского флота. Битва была за Сицилию, чьи плодородные поля были стратегической необходимостью для обеих стран.

Главным событием тех лет для Рима было окончание первой Пунической войны (264–241 гг. до н. э.). Это было первое в истории столкновение двух принципиально разных цивилизаций, а также противостояние преимущественно сухопутного римского войска против мощного морского карфагенского флота. Битва была за Сицилию, чьи плодородные поля были стратегической необходимостью для обеих стран.

К 235 году до н.э. подписанный по итогам войны мирный договор уже не был главной новостью, но его последствия продолжали оказывать влияние на античный мир. Рим одержал то, что историки впоследствии назовут пирровой победой. Ценой победы была гибель до 400 000 римских граждан. Целые флоты были поглощены морем во время штормов и битв у Эгадских островов. Легионы Римской Республики, цвет римской молодежи, тлели в болотах Сицилии и под стенами города Лилибея. Но результат, на который рассчитывал Рим, все-таки был достигнут: Сицилия была вырвана из цепких рук Карфагена и превращена в провинцию Рима – *provincia Sicilia*, территорию, управляемую римским наместником. Как итог победы, Рим совершил существенный скачок от италийской республики и начал превращаться в империю на берегах Средиземного моря.

Однако мир, добытый кровью и многочисленными жертвами, был хрупок, как тонкий лед. Условия мира для Карфагена были унижительными: кроме утраты Сицилии, на них была наложена контрибуция в 3200 талантов серебра, огромная сумма по тем временам. Сумма, которая привела к внутренним конфликтам и кризису, который спровоцировал восстание наемников, известное как «война без перемирия». Эта война для Карфагена была, пожалуй, даже страшнее войны с Римом. Озверевшие от голода и невыплаченного жалования ливийские, галльские и иберийские ветераны превратили цветущие земли Африки в выжженную пустыню. Карфаген, под предводительством Гамилькара Барки, сражался на смерть в братоубийственной резне. А Рим, наблюдая за этим с высоты своего Капитолия, испытывал мрачное удовлетворение. Он отказался помогать вчерашнему врагу, но, соблюдая формальности договора, не

препятствовал ему и в междоусобной войне. В Сенате царило убеждение, что Карфаген как великая держава больше не опасен и представлял собой поверженного, изможденного и истекающего кровью гиганта. Но именно тогда начал закаляться характер юного Ганнибала, девятилетнего сына Гамилькара Барки. По преданию, Ганнибал, приведенный отцом в храм Баала-Хаммона, дал свою знаменитую клятву: «Я никогда не буду другом римлян и, когда вырасту, стану их злейшим врагом».

Пока Карфаген горел в огне междоусобной войны, Рим использовал передышку для консолидации и экспансии, зализывал раны и осваивал плоды победы. Экономика Республики, истощенная войной, начала получать дивиденды. Поток сицилийского хлеба, оливкового масла и серебра хлынул в Рим. Также началась более активная романизация Италии: латинский язык, римское право и муниципальное устройство постепенно начинали проникать в покоренные народы – самнитов, этрусков, греков, превращая их в часть единого организма.

Однако за фасадом единства перед внешней угрозой кипели свои, римские страсти. Борьба сословий, патрициев и плебеев, вступила в новую фазу. Плебеи, чьи сыновья ложились в легионах, требовали своей доли новых земель и реального политического влияния. Это выливалось в жаркие политические баталии на Форуме, в принятие аграрных законов и в растущую власть народных трибунов. Римская армия, закаленная в Пунической войне, была в тот момент лучшей военной машиной в Средиземноморье. Ее основу по-прежнему составляли легионы, сформированные из граждан-землевладельцев, людей, имевших что защищать, ее дисциплина и тактическая гибкость не имели аналогов. Именно к этому периоду окончательно оттачивается тактика, делавшая легион похожим на живой организм. Гибкие манипулы, отряды по 120 человек, могли самостоятельно маневрировать, ломая неповоротливые фаланги и уничтожая легкую пехоту. Сенат твердой рукой управлял государством. В его стенах царило относительное единодушие, внешнеполитический курс был ясен: укрепление гегемонии в Италии, ассимиляция союзников и безжалостная нейтрализация любой потенциальной угрозы, где бы она ни возникла.

Карфаген не был единственным вызовом, и взгляд Рима высматривал опасность на всех рубежах. К северу от Апеннин, в плодородной долине, лежала Цизальпийская Галлия. Воинственные племена бойев и инсубров, для которых война была ремеслом. Их набеги на богатые этрусские и римские земли были угрозой для Рима. В 235 году до н.э. римляне уже планировали новые походы, чтобы раз и навсегда обезопасить свои северные границы и открыть путь для колонизации. Это было логичное продолжение векового противостояния, начавшегося еще с разграбления Рима галлами в 390 году до н.э.

Кроме этого, на восточном побережье Адриатики активизировались иллирийские пираты, чьи легкие и быстрые либурны стали проблемой для римской торговли. Их набеги и поддержка со стороны иллирийской царицы Тевты стали той самой спичкой, которая вскоре, в 229 г. до н.э., разожжет первую Иллирийскую войну. Первый шаг Рима на Балканы, первые столкновения с эллинистическим миром. Здесь уже маячила тень другой великой державы – Македонии и ее правителя Филиппа V.

235 г. до н.э. – это год, когда римская религия была еще суровой, практичной и неразрывно связанной с государством. Боги воспринимались не как капризные олимпийцы у греков, а как высшие покровители Республики, с которыми нужно поддерживать строго регламентированные, почти деловые отношения. Главной задачей было соблюдение так называемого «мира с богами», достигаемого через точнейшее выполнение обрядов. Храмы возводились в честь побед, как храм Януса, двери которого сейчас были закрыты в знак мира, а жрецы-авгуры, взирая на полет птиц или внутренности жертвенных животных, читали в них послания богов, определяя судьбу целых кампаний. В обществе царил культ *virtus* (доблести, мужественности), *pietas* (благочестия не только к богам, но и к семье и отечеству) и *fides* (верности данному слову). Это был мир, где ценность человека определялась его служением Республике. Знатные

семьи, такие как Валерии, Юлии, Корнелии, Клавдии и Автилии, вели непрерывную борьбу за славу и влияние, соревнуясь в возведении храмов и триумфах, но это соперничество, как правило, укладывалось в строгие рамки обычаев предков, служа в конечном счете на благо государства.

235 год до нашей эры был для Рима моментом паузы, спокойствия и накопления сил для прыжка, масштабов которого Рим сам не осознавал. Республика стояла на пике своей мощи в Италии и, как ей казалось, на поколения обезвредила своего главного соперника. Но именно в это время в Испании Гамилькар Барка уже вел свои войска через Геркулесовы столпы и воспитывал сына, Ганнибала, который станет кошмаром для Рима.

Чтобы избежать краха, римские боги должны были создать противовес, который уравновесит шансы Римской Республике выстоять и стать великой Римской империей. 235 год до н.э. – это год, когда был рожден один из великих полководцев Рима – Публий Корнелий Сципион Африканский.

Глава 1. Змей Юпитера.

*Отдыхая на мягком облаке почесав живот Юпитер произнес:
«Dum spiro – spero»
(Пока живу – надеюсь).*

В 235 году до н.э. тишина в доме Публия Корнелия Сципиона была тягучая, как испорченный мед. В этой тишине звенели невысказанные упреки, вздохи разочарования и слышался шепот людей с форума и из атриумов соседей: «Помпония бесплодна», «Боги специально не дают Корнелиям потомства». Для самой Помпонии, супруги Публия, этот шепот был ножом по сердцу. Пять лет брака превратили ее из юной невесты в ходячий символ неудачи. Ее брак с Публием, человеком суровым и занятым, изначально был договором между семьями, и теперь им нужен был ребенок, который скрепит семьи узами долга и продолжит их род.

Публий Корнелий Сципион в свои двадцать пять лет был каноном римской аристократической красоты тех лет. Его рост, заметно превышающий средний, сразу выделял его в толпе. Тело, лишенное грубой мускулатуры плебея, было упругим, жилистым и выносливым. Плечи, широкие от метания дротиков и управления боевым конем, держались с исключительной прямоотой, без тени сутулости и намека на расслабленность. Лицо напоминало мастерски выполненный портрет. Правильный овал лица, резко очерченные, почти режущие скулы, тяжелый, квадратный подбородок. Кожа, загоревшая под итальяйским солнцем военных походов, была гладкой, но уже начинала хранить отпечаток благородного рода в виде двух вертикальных складок между бровей. Эти заломы, неглубокие, но четкие, как насечки на мече, выдавали привычку к постоянной концентрации. Нос с высокой, мощной переносицей и характерным, изящным изгибом, напоминающим клюв орла. Этот профиль мог бы показаться чрезмерно суровым, если бы не живые, серьезные, но не злые глаза. Широко поставленные, под густыми, темными бровями, они были изменчивого цвета, где-то между серым и зеленым. Его волосы, темно-каштановые, с легким медным отливом на солнце, были коротко и практично острижены, открывая высокий лоб и затылок. Но в моде времени еще жила тень старого обычая: его челюсть и сильный подбородок обрамляла короткая, густая, тщательно подстриженная борода. Длинные, изящные пальцы патриция, способные вести тончайшим стилусом по воску, ладони, покрытые твердыми, желтоватыми мозолями у оснований пальцев от постоянного трения поводьев и рукояти меча. А на тыльной стороне правого предплечья, чуть ниже локтя, виднелся бледный, узкий шрам – первый урок, преподанный гальской секирой. Обычно он был одет в безупречную, снежно-белую тунику с двумя тончайшими пурпурными полосками. На его левой руке, на фаланге безымянного пальца, тяжело покоился простой, лишенный украшений железный перстень-печатка рода Корнелиев.

Помпонии было полных двадцать три года. Её внешность была сдержанной и красивой одновременно. Она обладала ростом, считавшимся идеальным для римлянки: не высокой и не низкой, а таким, чтобы, идя рядом с мужем, она могла слегка склонить голову на его плечо. Её телосложение, скрытое под складками одежды, говорило о здоровой, женственной силе. Широкие, но не тяжелые бёдра и полная грудь, подчеркнутые высоким поясом. Её осанка, в отличие от прямооты мужа, была чуть свободнее. Её лицо было полное и мягкое. Кожа, которой редко касалось беспощадное итальяйское солнце, имела матовую, фарфоровую бледность, от которой румянец на щеках казался особенно тёплым и живым. Лоб высокий, гладкий и открытый, на нём не было и следа морщин концентрации, украшавших её мужа. Брови тёмно-каштановые, широкие и естественно изогнутые, они редко хмурились, но могли приподняться в едва уловимом, красноречивом вопросе. Глаза большие, миндалевидные, широко посаженные, были серо-зеленые. Нос прямой, с аккуратным, чуть округлым кончиком, идеально пропор-

циональный лицу. Ни горбинки, ни излишней тонкости. Губы, не тонкие и не полные, имели чёткий, изящный контур. Их естественный розовый цвет был ярче бледной кожи. В состоянии покоя они были мягко сомкнуты, но уголки их были чуть приподняты, намекая на внутреннее, неунывающее спокойствие. Подбородок, хоть и не выдавался вперёд, имел твёрдую, округлую форму, выдававшую упорство характера, скрытое под кротостью.

Волосы густые, тяжёлые цвета тёмного мёда, с естественными рыжеватыми отсветами при свете лампы, были разделены на прямой пробор. Они не были коротко острижены, а убрались в сложную, но строгую причёску. Основная масса заплеталась в плотную косу, которая затем укладывалась на затылке или на макушке, формируя основу. От висков и лба несколько более коротких прядей также аккуратно заплетались и присоединялись к основной массе. Вся конструкция фиксировалась шерстяной повязкой и, возможно, несколькими простыми костяными шпильками. Ни одной свободно развивающейся пряди, полный порядок – символ её непорочности и дисциплины, царившей в её семье. Её руки, часто занятые работой с шерстью или хранением хозяйских ключей, были сильные, с изящными запястьями и длинными, выразительными пальцами. На суставах могли быть крошечные впадинки, что придавало им особую красоту. Ногти были коротко подстрижены, ровные и чистые, с белоснежными лунками. На этих руках не было ни колец, кроме простого железного обручального кольца. Обычно она одевалась в длинную, до пола, тунику из тонкой, но плотной шерсти кремового или мягкого голубого оттенка. Поверх неё могла надеваться более короткая верхняя туника. Края одежды подчёркивала скромная, но качественная синяя или пунцовая кайма. От неё исходил лёгкий, чистый аромат: запах свежего льна, лаванды, разложенной в комодах, и едва уловимой сладости миндального масла, которым она увлажняла кожу.

Надежда на беременность у супругов таяла с каждым месяцем, оставляя Помпонию чувство собственной неполноценности. Публий Корнелий Сципион, её муж, переносил эту неудачу иначе. Для него это был удар по самой основе его дома и по долгу перед предками. Маски предков, что хранились в атриуме, смотрели на него пустыми восковыми глазами, и ему казалось, что в их взгляде есть немой укор. Он погрузился в дела, в политику, в обсуждение бедствий Рима после войны, во все, что угодно лишь бы не видеть страдания в глазах жены и не отвечать на колкие, полные ложного сочувствия вопросы брата Гнея.

И вот, в одну из ночей, случилось нечто, разорвавшее эту томительную пытку ожиданием. Помпония проснулась от холода и почувствовала ледяное дыхание, исходившее из самой глубины ложа, из-под подушек. Сердце её сжалось в комок от ужаса, а потом забило с такой бешеной силой, что в висках застучало. Она медленно, с нечеловеческим усилием, повернула голову. Рядом с ней и спящим крепким сном Публием, лежал змей.

Но это создание не имело ничего общего с земными гадами. Его тело, толщиной с предплечье мужчины, было сплошной мышцей, обтянутой чешуей, что переливалась в лунном свете, как темный опал. Длина его терялась в тенях, и казалось, что он опоясывает все ложе. От него исходил мороз, и запах грозы, а его глаза не были щелочками зрачков, это были две полные, молочно-белые луны, светящиеся своим собственным, фосфоресцирующим светом. В них не было злобы, не было голода, казалось, что в них была лишь бездна. Змей не открывал своей пасти, но Помпония слышала шёпот у себя в голове, тихий и не похожий на обычную человеческую речь: «... не бойся нас... мы есть видение...».

Помпония застыла, она не могла пошевелиться, не могла издать звук, ужас сковал её, как саван. Но по мере того как минуты проходили, ледяной ужас начал медленно таять, уступая место спокойному трепету. Это чудовище не собиралось нападать на неё или её супруга, оно покоилось. Его плоская, благородная голова лежала на подушке, и его холодное, едва ощутимое дыхание касалось её щеки, оно изучало её. И в этом изучении была таинственная, непостижимая нежность.

Так она пролежала до рассвета, не сомкнув глаз, замороженная взглядом духа. Когда первые лучи солнца появились в окне, змей начал двигаться. Бесшумно, словно невесомый, он скользнул с ложа, его чешуя лишь тихо поскрипывала по шерстяному одеялу. Он прополз через всю спальню, как призрачная река из серебра и малахита, и растворился в темном проеме двери, а холод ушел вместе с ним.

Только тогда Помпония смогла пошевелиться. Она повернулась к мужу, Публий спал тем же крепким сном, слегка похрапывая. Чувство одиночества охватило ее. Как она могла поделиться этим с ним, какими словами? «К нам в постель заполз бог, я испугалась, но не стала тебя будить»?

Помпония решила пока молчать, и после того как супруг открыл глаза, она не стала ничего рассказывать. Кроме этого, она подумала, что это мог быть и просто сон. Но с того дня её тело, до того сухое и неподатливое к вниманию супруга, будто проснулось. Теперь она всё чаще и чаще просила мужа о ласках и любви, позволяя ему всё, что должны позволять римлянки, испытывающие большое влечение к своему мужчине. Через несколько недель, с замиранием сердца, она призналась себе в том, что почувствовала в себе новую жизнь. Когда она, дрожа, сообщила новость Публию, его лицо озарила столь редкая, счастливая улыбка.

Беременность Помпонии стала событием для кулуарных обсуждений в Риме. Не девять, а десять полных календарных месяцев носила она своё дитя. «Дурная примета», – шептались римлянки у фонтанов. «Это проклятье богов», – судачили рабы на кухне. Но сама Помпония чувствовала себя могучей, как земля. Ей снились сны, где она парила над Римом, а у ног её извивался гигантский змей, и его молочные глаза были путеводными звёздами, и тот же шёпот: «...наш сын, в тебе наш сын...».

Бог сна Сатурн спал. Смачно пустив газы, он повернулся на другой бок, и время в зале эфира застыло в нужном равновесии между «было» и «стало». В эфире не было ни дня, ни ночи, лишь вечное сияние, источником которого были сами собравшиеся. Своды из грозových облаков и солнечного света уходили ввысь, теряясь в бесконечности. Стоял звон от напряжения, предвещающего рождение миров. Казалось, само пространство затаило дыхание в ожидании вердикта, который определит судьбу Рима на многие годы вперед.

Юпитер Оптимус Максимус восседал на троне из сплавленного электрума и сгущенного света. Его пальцы, способные сокрушать города и воздвигать империи, лежали неподвижно на ручках трона, высеченных в виде орлиных голов. Взор его, тяжелый и всевидящий, был обращен в бесчисленные вереницы возможного грядущего, где тени событий роились, подобно теням от пламени. Он видел реки, окрашенные в багрянец, падающие знамена орла, стены, рушащиеся под крики торжествующих варваров, и алтари, покрытые пылью забвения. Но среди этого хаоса он также видел и проблески порядка, стройные легионы, законы, прорезающие время подобно мечам, и идею великого Рима, стойкую, как гранит.

– Время настало, – произнес он, – Песок в часах Рима пересыпается. По установленному правилу мы больше не можем напрямую влиять на ход событий и вмешиваться в людские дела, баланс божественных энергий всех мирозданий должен быть соблюден, иначе вся жизнь вернется к своему началу – к песчинке света в крошечной тьме, но мы все еще можем даровать свое благословение. Скоро в доме Корнелиев родится наследник, мальчик. Я вижу песок, который густ от крови, пролитой при Каннах, и слез, что прольются матерями убитых. Возможно, судьбе будет угодно иное, и мы сможем это предотвратить, а если нет, то мы должны быть готовы дать свой божественный ответ. Карфаген... – он сделал паузу, и в воздухе образовалась полнейшая тишина, – Карфаген стал инструментом хаоса, чуждого нам хаоса. Их боги жаждут сожжения нашего мира и нас самих. Если люди перестанут в нас верить, поклоняться в храме,

то мы исчезнем, а на наше место придет хаос. Стойкость Рима – это будет наш ответ хаосу, это меч и щит порядка и законов, наших законов. И этому щиту нужен новый ум и новое сердце.

Рядом, на троне из черного обсидиана и переливчатых павлиньих перьев, Юнона, супруга Юпитера, выпрямилась. Холодное, совершенное сияние исходило от нее, отбрасывая резкие тени. Ее власть была абсолютна в сфере брака и клятв, и каждая нарушенная клятва ею каралась.

– Корнелия? – её голос был звонок. – Очередные потомки Трои? Ты собираешься вручить судьбу мира очередному щенку этого недостойного рода? Лучше я найду на них чуму, галльское нашествие, междоусобицы. Они – сорная трава, лишь крепчают, лишь множатся, оскверняя своими подошвами землю, что по праву должна была стать их могилой. Пусть Ганнибал довершит начатое мною. Пусть плуг карфагенян перепашет холмы Рима, а соль будет посыпана на землю, где стояли их алтари. Это будет справедливее, чем возвысить этот род.

– Тише, моя богиня, умерь свой пыл, грехи отцов не должны ложиться на детей, – с нежностью в голосе ответил Юпитер, за тысячи лет привыкший к вспыльчивости своей супруги.

С противоположной стороны зала, сдвинув с места облачное кресло, напоминавшее наковальню, поднялся их сын Марс. Его доспехи не лязгали, но от них исходила вибрация, словно от натянутой тетивы за миг до выстрела. От него пахло раскаленным металлом, потом взмыленных коней и свежей, алой кровью, только что пролитой на жертвеннике.

– Отец! – воскликнул он. – Риму нужен меч, а не пеленки. Речи и пророчества не останавливают фалангу. Зачем ждать, пока этот младенец вырастет и научится держать меч? Я вселю ярость в сердце любого воина, что охраняет стены, только разреши мне.

– Зачем нам нужен такой герой, который падет также быстро, как пали тысячи до него? Чтобы он быстро пал от своего героизма в предстоящих битвах на Тразименском озере или Каннах? – раздался спокойный голос Юпитера.

Их дочь Минерва сидела, положив на колени прялку. Но пряла она не шерсть, а нити причин и следствий, судьбы людей и народов. Её взгляд, ясный и пронзительный, был устремлен на текущий перед ней узор, где золотые нити Рима сплетались и рвались в кровавом узле с багровыми нитями Карфагена.

– Ганнибал, сын Гамилькара, ещё мальчишкой дал клятву ненависти у алтаря их бога Баала-Хаммона, – сказала она, не поднимая глаз. – Я вижу вероятность событий, что эту клятву он пронесёт через годы, через Альпы, через реки крови, как ты пронесишь свой меч, брат Марс. Он станет бичом Рима не потому, что силен, а потому, что умен. Он мыслит, он учится. Твоя ярость, брат, и любого воина, которого ты поставишь в противовес, разобьётся о его стратегию, как волна о скалу. Нам нужен не ещё один воин, чья доблесть меркнет перед хитроумным планом. Нам нужен ум, способный мыслить широко.

В центре зала, словно из самого воздуха, сотканного из надежд и вожелений, тонких интриг и всеобъемлющей любви, возникла Венера. Она не была дочерью Юпитера и Юноны, однажды, много тысяч лун назад, она просто появилась в Эфире и осталась. Сейчас ее появление было подобно первому вздоху любви, первому пробуждению желания. От нее исходил сладкий аромат мирта, роз и чего-то неуловимого, что заставляло сердца биться чаще, даже если это сердце бога.

– Он будет моим, – произнесла она, и ее тихий, мелодичный голос был слышен так же ясно, как голос Юпитера. – Потомок моего Энея, кровь от крови моей. Его род уже несет на себе печать судьбы и бремя изгнания. Но ты права, – она кивнула Юноне, и в ее взгляде читалось понимание непреложных законов клятвы. – клятва их предков была нарушена, но Корнелии давно уже искупили свои грехи перед тобой.

– И ты права, – Венера посмотрела на Минерву, – но один лишь ум сделает его холодным, безжалостным тираном, который принесет победу ценой души.

– А если сделать как хочет Марс, то одна ярость делает его слепым, яростным разрушителем, который сравнивает с землей и Рим, и Карфаген, не видя разницы. Ему потребуется нечто большее. Ему потребуется гармония и любовь.

– Чего же ты предлагаешь, дитя? – спросил Юпитер, и в его глазах вспыхнула искра живого интереса.

– Я хочу дать ему не одну грубую силу, но расположение, – ответила Венера, и ее руки сложились у груди, как будто держа невидимое дитя, дать счастливую судьбу. Дать умение быть в нужном месте в нужный час. Удачу, которая будет вести его сквозь град стрел и лес копий. Любовь солдат и преданность друзей, что будет вернее целого легиона. И дать любовь к прекрасному, к искусству, к слову, это не даст его сердцу окаменеть среди ужасов войны. Чтобы, воздев руки над поверженным врагом, он мог увидеть страдание.

– Удачу? – Юнона рассмеялась, – Прекрасно, поистине прекрасно. Ты хочешь сделать его баловнем судьбы? Ну ладно, не стану мешать, я не буду насыпать на него болезни, не стану ослеплять его в бою, раз Вы просите. Я согласна на Ваш выбор, пусть будут Корнелии. Но знайте все, ничто не дается даром. Я возьму с него свою цену, дам тяжесть долга, что будет давить на плечи тяжелее свинцового плаща, дам бремя славы, что будет жечь его, как раскаленный доспех. Его величайшие победы будут отравлены жалкой, мелкой завистью тех, кого он спас. И алтарь, который он возведет, станет его же тесной темницей. Он будет и спасителем, и пленником Рима. Таков мой дар, такое мое решение, потому что баланс должен быть соблюден.

Юпитер медленно кивнул, тем самым приняв условия этой небесной сделки. Жертва одиночеством и непониманием ради общего блага казалась ему справедливой ценой.

– Да будет так, – изрек он. – Мы не сделаем его неуязвимым, не даруем ему бессмертия. Мы сделаем его просто необходимой частью судьбы Рима. Марс, что даруешь ты, кроме ярости?

– Я вложу в него отвагу, – провозгласил бог войны. Отвагу, что позволит ему принять вызов, когда все остальные отступят. Отвагу, чтобы смотреть в лицо Ганнибалу, не опуская взора, и видеть в нем не чудовище, а человека. Отвагу идти против воли сената и толпы, если его разум подскажет ему иной путь. Я дам ему сердце льва, но в груди человека.

– Минерва? – обратился Юпитер к дочери. – Что добавишь ты к его разуму?

– Я вдохну в его разум искру провидения, – сказала она, и её пальцы провели по пряже. Он не будет знать того, чего не может знать, но он будет видеть поле боя, видеть цель и средства. Он будет читать замыслы врага, угадывая их. Но знание – это тоже бремя. Он будет одинок в своём понимании. Его слова будут встречать непонимание, его планы – насмешки тех, кто не будет его понимать.

В этот момент с места, большого кузнечного горна, поднялся Вулкан, супруг Венеры. Его мощная, исковерканная тяжелым трудом фигура отбрасывала широкую, неподвижную тень. В руках он сжимал молот – инструмент творца, способный и разрушать, и созидать.

– Тогда я выкую ему душу, – прогремел его голос. – Не гибкую, как твои нити, Минерва, и не пламенную, как твой гнев, Марс. Я выкую ему стойкость, терпение, умение выносить жар горна и удар молота, душу, что не даст трещины и не сломается. Чтобы, когда все вокруг будут метаться в панике, его дух стоял, как крепкая наковальня, готовая принять любой удар судьбы и отковать из него свою победу. Он будет упорен, как сама земля и как сама скала.

Следом за ним, с самого края круга, поднялся Аполлон, сын Юпитера и земной женщины. В его руках золотой лук, на тетиве которого была натянута мелодия, готовая родиться.

– Я коснусь его уст, – промолвил Аполлон, и голос его был чист и ясен, как вода в роднике. Я ниспошлю ему дар слова, умение зажигать сердца суровой, обнажённой истиной. Его речи будут лететь, как мои стрелы, прямо, неотвратимо, поражая прямо в сердце. Он сможет убедить там, где сила бессильна, воодушевить там, где надежда мертва. И ещё, – Аполлон сделал паузу,

– я дам ему способность видеть красоту даже в руинах, музыку в шуме сражения, гармонию в хаосе. Это умиротворит его победы и смягчит горечь его поражений.

Затем, из тени огромной колонны, напоминавшей ствол древнего кипариса, вышла сестра-близнец Аполлона – Диана. От неё пахло лесом, лунным светом, прохладой горных озёр и дикой, неукротимой свободой.

– Я наделю его зрением охотника, – сказала она. – Он будет видеть не только целое, но и детали, невидимые другим. След на влажной земле, выдающий замысел врага, слабую точку в неприступной стене, тень сомнения в глазах непобедимого полководца. Он будет чувствовать ландшафт, читать его складки и тайные тропы. И ещё. – она посмотрела прямо на Венеру, и взгляд их на миг встретился в молчаливой согласии, – я дам ему мою чистоту и неприкосновенность. Чтобы похоть и низменные страсти не затуманили его разум в час испытаний, не отвлекли от цели.

Последним, с озорной улыбкой, выступил Меркурий, сын Юпитера и богини весны Майи. Он появился, удобно развалившись на пустовавшем до сих пор троне, вертя в длинных, ловких пальцах свой жезл, обвитый двумя змеями.

– А я, – начал он, и в его голосе слышался лёгкий, насмешливый оттенок, – позабочусь о сущих пустяках, которые вы, могучие владыки, вечно упускаете из виду. Я научу его ноги быть быстрыми в принятии решений, в перемещении войск, в охвате фланга. Я сделаю его ум гибким и изворотливым, как дорога в горах, чтобы он мог договориться так же легко, как отдать приказ последнему легионеру. Я подарю ему то, что вы все упускаете – лёгкость. Лёгкость в движении, в мысли, в общении. Без неё все ваши дары станут для него невыносимой ношей, что сломит хребет любому смертному.

Юпитер выслушал всех. Эфир сгустился, наполненный до предела мощью готовых излиться даров. Казалось, ещё миг и пространство не выдержит.

– Свершилось, мы делаем его богом среди людей, но не отменяем его смертную природу. Да будет так.

Он сомкнул ладонь. И в ней, в сжатом кулаке бога, вспыхнуло сияние, слепящее, тёплое, живое, – это был сгусток божественной судьбы, квинтэссенция воли богов.

И этот сгусток устремился вниз, пронзая слои эфира, преломляясь в сферах планет. Он летел в мир смертных, в тёплое чрево знатной римлянки по имени Помпония, покоившейся в своём доме на Палатинском холме, ещё не ведая, что стала избранницей богов.

Глава 2. В доме Корнелиев. Рим и Карфаген.

*Венера, наблюдая за рождением мальчика и готовая помочь в любую секунду: «Dhuater tumti kei dhu urnus aterti»
(Принесите небеса на землю и возвратите свет на небеса).*

Город на семи холмах дышал глубоко и уверенно. С высоты Капитолийского холма город казался морем черепичных крыш, рыжих и терракотовых, перемежающихся редкими пятнами зелени частных садов. Граница города всё ещё упиралась в Сервиевы стены, возведённые века назад. Они местами выглядели архаично и тесно, некоторые районы уже выплескивались за их пределы, но эти стены из грубого туфа были символом неприступности. Ворота кишели жизнью, пропуская в город потоки крестьян, торговцев, скота и военных патрулей. Римский Форум был политическим, религиозным и деловым сердцем – вымощенная неровными камнями, многолюдная и грязноватая мостовая между холмами. Здесь, под открытым небом, кипела жизнь. Был Комиций – круглое пространство у Курии, где собирались народные собрания. Земля здесь была утоптана тысячами сандалий. Курия – само здание сената, относительно скромное, из кирпича и дерева, внутри которого на деревянных скамьях решалась судьба Италии. Ростра – ораторская трибуна, украшенная носами захваченных карфагенских кораблей, немой укор поверженному врагу и символ новой, морской мощи Рима. Храмы, небольшой, древний Храм Весты с его вечным огнём, где весталки, хранительницы святыни, двигались как белые тени. Храм Сатурна, в подземельях которого хранилась государственная казна. Храм Кастора и Поллукса, три стройные колонны которого были местом омовения после битвы.

Капитолийский холм был духовным центром. На него вела крутая дорога Кливус Капитолинус. На вершине, на Капитолии, гордо высился величественный Храм Юпитера Величайшего. Построенный ещё при Тарквиниях, он уже не казался таким грандиозным, но его тройное посвящение Юпитеру, Юноне и Минерве делало его средоточием римской религии. Крыша была покрыта позолоченной бронзой, и в солнечный день она слепила глаза. Здесь приносили жертвы перед началом войны и здесь же благодарили за триумф. Палатинский холм, место, где по преданию выкормили Ромула и Рема. Теперь это самый престижный адрес Рима. Здесь, среди виноградников и священных рощ, стояли просторные дома-атриумы знати, вроде дома Сципионов. Их фасады были лишены окон, внутрь вели скромные двери, но за ними скрывались внутренние дворики с бассейнами, окружённые колоннадами. Авентинский холм, занятый в основном плебеями, ремесленниками и иностранцами. Здесь царил грохот молотков из кузниц, запах кожи с кожаных мастерских, крики торговцев в лавках. Это был район мятежный и шумный. Эсквилинский холм. Его окраинная часть, особенно к востоку от Сервиевой стены, служила свалкой и кладбищем для бедняков, это было место, куда старались не ходить без нужды.

Субура – узкая, грязная, вечно запруженная долина между Виминалом и Эсквилином. Это самый густонаселённый, шумный и дурнопахнущий квартал Рима. Многоэтажные доходные дома, инсулы, из дерева и сырцового кирпича лепились друг к другу, почти не пропуская свет. С верхних этажей выливались нечистоты, на верёвках сушилось тряпье, в лавчонках на первых этажах торговали всем подряд. Здесь слышалась речь на десятке языков, пахло дешёвым вином, жареными бобами, человеческими испражнениями и дымом тысяч очагов. Пока не появились гигантские акведуки. Город питают родники, колодцы и Аква Аппия – первый, проложенный ещё в 312 г. до н.э., подземный водопровод, доставляющий воду с дальних холмов к рынкам и фонтанам. Воду ценят и экономят. Величайшее чудо римского гения – Клоака Максима. Изначально ручей, теперь это мощный подземный туннель-коллектор, построенный

из огромных каменных блоков. Он осушает низины между холмами, унося нечистоты и ливневые воды в Тибр. Его устье на берегу реки, зрелище впечатляющее и зловонное.

Тибр – главная транспортная артерия. Набережных как таковых нет, берега глинистые и застроены причалами, складами и доками. Здесь разгружают зерно из Сицилии, оливковое масло из Греции, строительный лес. Вода в реке мутная, желтоватая, несущая в себе всю грязь города. Через неё перекинута деревянная мосты, самый древний и священный – Мост Святого Ангела, уже частично перестроенный в камне.

Дух города – это дух суровой, дисциплинированной жизни. Повсюду видны следы войны и роста, новые храмы, возведенные по обету, добыча, выставленная напоказ, лица провинциалов и рабов, которых становится всё больше.

Помпония, жена Публия Корнелия Сципиона, спала в эту ночь беспокойно. Ей снились сны, полные огня и шума. Она видела лица, где-то прекрасные, а где-то ужасные, видела орлов, сражающихся со змеями, и слышала голоса, говорившие на языке, похожем на гром. И вдруг она проснулась резко, как от толчка. И поняла, что комната залита светом, но свет исходил не от ночной лампы и не от луны, пробивавшейся сквозь занавес. Свет исходил от нее самой, из ее живота. Тонкая ткань туники светилась изнутри мягким, золотистым сиянием. На миг ей показалось, будто под кожей шевелятся не один, а десятки младенцев, она почувствовала, как в нее вливается неслыханная сила и тяжесть. Она вскрикнула, но звук застрял в горле, ибо крик этот был не от страха, а от невыразимого благоговения. В ту же секунду свет внутри нее погас. В комнате снова стояла темная ночь. Помпония, лежавшая в постели, всячески пыталась успокоить свое тело, но оно все еще содрогалось от пережитого. Она чувствовала странный, сложный букет запахов: паленое железо, свежесть горных лесов, сладкий, дурманящий аромат мирта и запах озона после грозы.

Она потянулась рукой к служанке, спящей на полу рядом с кроватью госпожи, но передумала и пока не стала ее будить. Ее руки легли на уже округлившийся живот, и она почувствовала сильное шевеление ребенка. Сердце ее билось ровно и мощно, а на губы пробилась улыбка, в которой смешались гордость, надежда и щемящая, непонятная грусть. Помпония почувствовала, что с ее ребенком что-то произошло, что-то изменилось, и это было как дар, а не проклятье. Она услышала шёпот в своих мыслях: «... не бойся, наш сын получил дары...»

Ее служанка, старая и верная, спавшая на циновке в ногах ее ложа, зашевелилась, разбуженная звуком.

– Госпожа? – прошептала она, вставая. – Вам нехорошо? Воды принести?

– Нет, – тихо ответила Помпония. – Со мной все более чем хорошо. Да, принеси мне воды из колодца и разбуди господина. Скажи, что мне нужно его видеть немедленно.

Когда Публий Корнелий Сципион вошел в спальню, он застыл на пороге. Его жена сидела на ложе, прямая, как колонна, откинув одеяло. Лунный свет, пробивавшийся через окно, падал на ее спину, и ему казалось, будто ее плечи светились.

– Помпония? – его голос был хриплым от сна. – Что случилось? Что-то с ребенком?

– Случилось, – сказала она, глядя на него сияющими глазами. – Родится мальчик, Публий. Не сомневайся, у нас будет сын. И он, – она замолчала, подбирая слова, – он спасет Рим, когда придет беда, наш мальчик переломит ход предстоящей войны.

Публий, будучи человеком суровым, практичным, воспитанным в духе стоицизма и не доверяющим видениям, хотел было усмехнуться, отнести это к гормональному бреду беременной женщины, к ночным кошмарам, от чего нужно спасать Рим и какая еще война. Он открыл было рот, чтобы произнести что-то успокаивающее, но что-то в лице жены, в ее осанке заставило его замолчать. Он тоже почувствовал тот же странный запах железа, леса и грозы и лишь кивнул, коротко и сухо, чувствуя, как по его спине пробежал ледяной холодок, не имеющий ничего общего с ночной прохладой.

В ту же самую ночь, когда в Риме было предрасветное время, в Карфагене стоял знойный полдень. Верховный жрец Баала-Хаммона, человек по имени Бодасарт, чье тело было испещрено ритуальными шрамами, стоял перед огромной медной жаровней с раскаленными до бела углями. Он должен был истолковать волю грозного бога по трепетанию и цвету пламени, по тому, как пожирает огонь куски священного мяса.

Но сегодня пламя вело себя странно, отказываясь подчиняться известным ему законам. Оно не плясало, не вздымалось языками к небу. Оно сжалось в один плотный, ослепительно яркий шар, похожий на второе солнце, а затем, с тихим шипением, разделилось на семь отдельных языков, каждый своего цвета: алый, как кровь, золотой, как солнце, серебряный, как луна, медный, как щит, лазурный, как небо, изумрудный, как море, и черный, как ночь. И все семь языков, изогнувшись, словно змеи, потянулись на север, в сторону, где за морем лежал ненавистный Рим, и там, смешавшись в один ослепительный кулак, погасли, оставив лишь горстку белого, безжизненного пепла. Бодасарт отшатнулся, чувствуя, как его внутренности сжимаются от леденящего, животного ужаса. Его рука, держащая ритуальный нож, задрожала.

– Что это? – прошептал он, и его губы побелели. – Какое-то рождение? Я чувствую их силу в человеке. Они не имеют права, кто им дал это право, они должны за это ответить.

Он не видел лица самого младенца в пламени, но видел рождение воли, целенаправленной и страшной, рожденной волей вражеских Римских богов. Он упал на колени перед жаровней, бормоча заклинания, призывая Баала-Хаммона о защите, о мести за этот поступок. Но ответом было лишь осознание, что уже слишком поздно. Приговор Карфагену был вынесен на самом высоком уровне, и, если ничего не сделать, нити судьбы будут сплетены так, как нужно Риму. Их Ганнибал был великим мечом, уже занесенным над Римом, но их боги решили дать отпор. Карфагену теперь противостояло нечто иное, чем их армия. Зеркальные меры были приняты в противовес будущему величию Ганнибала. И в этом зеркале Бодасарт с предельным ужасом увидел отражение их возможного собственного, будущего падения.

Боги Рима разошлись по своим делам, Марс удалился на свое пламенное поле, чтобы в ярости рубить призраков. Вулкан скрылся в глубинах своей кузницы, уже обдумывая, как выковать очередной несокрушимый дух. Минерва погрузилась в созерцание новых стратегических планов. В опустевшем эфире осталась лишь Венера. Она подошла к краю облачного пола, за которым простиралась бездна звезд, и заглянула вниз. В ее руках появилось серебряное зеркало, но отражало оно не ее божественные черты, а темную спальню в Риме, где Помпония, наконец, снова погрузилась в сон, ее рука все еще лежала на животе.

– Спи, мой мальчик, – прошептала Венера, и в ее глазах блеснула слеза, чистая, как роса. – Спи и набирайся сил. Твоя судьба... – она коснулась поверхности зеркала горячим пальцем, и изображение поплыло, исказилось, – твоя судьба еще не написана. Мы лишь дали тебе перо, а чернила – твоя кровь, твои слезы и твоя честь. Напиши же свою судьбу так, чтобы мы, боги, могли тобой гордиться.

И далеко, в своих чертогах из полированного черного мрамора, где отражались лишь несбывшиеся клятвы, Юнона с холодной, безжалостной улыбкой наблюдала в своем зеркале за сном другого мальчика, сына карфагенского полководца Гамилькара. Его сын, Ганнибал, должен был стать бичом Рима. Она протянула руку, и в ее ладони возникла маленькая, ядовитая фигурка из воска, напоминающая Ганнибала. Она сжала пальцы, попытавшись раздавить, но фигурка не поддавалась, защищенная аурой богов Карфагена.

– Как жаль, что я не могу одним движением спасти столько жизней, десятки тысяч людей полягут из-за нашей неспособности.

На третьи сутки после дара богов в дом Корнелиев постучались. Привратник, зевнув, открыл тяжелую дверь из дуба и увидел на пороге слепого. Привратник вздрогнул: ветхая, но чистая туника гостя говорила о принадлежности к жреческому сословию. В руках он сжимал не обычный посох, а литтус – изогнутый жезл авгуров.

– Я ищу дом Публия Корнелия Сципиона, – голос старика был сухим, но звучал с неожиданной твердостью.

– Ты в нем и находишься, старец, – ответил привратник.

– Тогда введи меня к хозяину. Меня зовут Гай Тит Мерула, и я пришел по зову.

Помпония, сидевшая в атриуме за прялкой, узнав о визите, приказала оказать ему всецкие почести. Когда слепого под руки ввели во внутренний дворик, где рос старый кипарис, посаженный основателем рода, Помпония сжала руки так, что костяшки побелели. Мерула не глядел на нее своими молочными глазами. Он повернул голову к небу, словно вдыхая запах, и медленно прошептал:

– Здесь пахнет будущим, горячим металлом и лавром. Сильный запах лавра.

Публий, скептически наблюдавший с порога таблиума, нахмурился. «Незванный гость», – подумал он, но не сказал этого вслух.

– Расскажи, авгур, что привело тебя под мой кров? – спросил он, подходя.

– Птицы, – просто сказал старик. – Вчера, на Марсовом поле, я слушал их, и вдруг все они смолкли разом. И в этой тишине я услышал другой звук, семь разных звуков, что слились в один. Звук удара молота о наковальню, шелест разворачивающегося свитка, звон меча, лай пса, шум ветра в кроне дуба, мелодию флейты и тихий плач женщины. И все звуки шли сюда, к вашему дому.

Он сделал шаг к Помпонии, и его незрячий взор, казалось, пронзал ее насквозь.

– Позволь мне посидеть здесь, под этим деревом. Мне нужно прислушаться к дому.

Его усадили на каменную скамью. Мерула замер, положив руки на колени. Минуты тянулись, в доме замерли даже рабы, чувствуя важность момента. Вдруг старик содрогнулся.

– Они здесь ходят, – выдохнул он.

– Их шаги тихи, но для моего уха они слышны. Один ступает тяжело и уверенно, как громовержец, и его следы опаляют камни. Другой легок и стремителен, как мысль. Третий... – Мерула съезжился, – третий пахнет железом и кровью, но это кровь не пролитая, а та, что только хлынет. Это запах грядущей войны. А еще, – он смолк, и по его щеке скатилась слеза, – а еще здесь есть женщина, ее шаг легче лепестка. Она плачет, но это не слезы горя, это слезы прощания. Она знает, что ее дитя не будет принадлежать только ей, она отдает его Риму.

Помпония вскрикнула и прикрыла рот рукой, а Публий побледнел.

– Что это значит? – голос Помпонии дрожал.

– Это значит, дочь моя, что твой сын будет принадлежать Риму, – старик медленно, с трудом поднялся, – и Рим будет принадлежать ему. Он станет его мечом и щитом. Он сокрушит врагов. Но, – он повернул свое лицо к Публию, и тот невольно отшатнулся, – береги его от тех, кто будет пожимать ему руку и улыбаться в лицо. Его слава будет так велика, что станет ему невыносимой.

Сказав это, авгур позволил слуге вывести себя в вечерние сумерки улицы. А Публий Сципион, оставшись один в атриуме, долго смотрел на маски предков. И ему почудилось, что восковые лики смотрят на него в ответ.

Весть о визите авгура и его странных речах быстро облетела всех обитателей дома. Старший брат Публия, Гней Корнелий Сципион Кальв, человек грубоватый и прямолинейный, отреагировал с презрением.

– Бредни! – проворчал он, попивая вино в триклинии. – Старый дурак нашептал Помпонию всяких ужасов. Я уверен, что ребенок родится, будет расти, как все, ну, может, станет хорошим солдатом. А эти разговоры о бремени славы, богах, судьбе – все чепуха.

Его жена, женщина властная и честолюбивая, слушала его с усмешкой.

– Ты ничего не понимаешь, Гней. В этом что-то есть, Помпония вся светится, и сны ей снятся вещие. Мне служанка говорила: видела она во сне, как наш будущий племянник стоит на спине огромного слона, а римские орлы кланяются ему – это знак, что наш род возвысится.

– Возвысится? – фыркнул Гней. – Наш род на грани вымирания после войны, какое уж тут возвышение, выжить бы!

– Именно поэтому, – страстно прошептала она. – Боги посылают нам нового вождя, и мы с тобой должны быть на его стороне, всегда.

В детской комнате, сын Гнея, юный Сципион Назика, играя в кости со своим младшим братом, вдруг поднял голову.

– А правда, что тетя Помпония родит великого полководца? – спросил он.

– Говорят, – пожал плечами отец.

– Интересно, – задумчиво произнес Назика. – Хотел бы я посмотреть на него. Мне кажется, мы с ним будем дружить...

Тем временем, в Карфагене, тревога жреца Бодасарта не была единственным знаком. Советнику карфагенского суффета, богатому торговцу по имени Макон, приснился сон. Он стоял на берегу моря, и вдруг из воды вышла фигура в тоге, от которой исходил свет. В руках незнакомец держал не меч, а весы. На одну чашу весов он положил Карфаген, и чаша эта перевесила, едва не коснувшись земли. Затем он положил на другую чашу ребенка. И чаши вдруг пришли в равновесие. Ребенок улыбнулся, и из его уст вырвался орлиный клич. Макон проснулся в холодном поту. Он был практичным человеком, не склонным к мистике, но сон был настолько ярок и тревожен, что он приказал немедленно привести к нему ливийскую гадалку. Та, бросив кости и взглядевшись в разлитое на бронзовом подносе масло, побледнела.

– Господин, – прошептала она. – Рим рождает свой ответ, это дитя несет погибель. Скоро у нас всех будет выбор: либо остаться в Карфагене и погибнуть, либо бежать и искать лучшую жизнь.

Высоко над дымными алтарями Карфагена, в своем небесном обиталище, собрались и их боги. Их лик не был в привычном понимании для человеческого глаза, боги Карфагена были сущностями самого хаоса. Великий и ужасный Баал-Хаммон восседал на троне из человеческих черепов. Рядом с ним властная и грозная Танит, там же был и Мелькарт, бог покровитель мореплавателей.

– Они что-то затеяли, у себя там в Эфире, – прорычал Баал-Хаммон, и его голос был похож на скрип врат. – Я почувал всплеск их силы, они создают себе нового героя.

– Героя? – усмехнулась Танит, и в ее устах это слово звучало как оскорбление. – Они могут создать только тень. Бледную, эфемерную тень. Разве может тень сравниться с нашей плотью и кровью Ганнибала? Наш избранник уже почти готов, почти вырос, уничтожение Рима – его судьба. И его отец Гамилькар отлично справляется со своей задачей.

Мелькарт, молчавший до этого, покачивал в руке модель триеры:

– Не стоит недооценивать римских богов, – сказал он мрачно. – Их сила не в обычной ярости воинов, а в порядке, в законе. Этот их будущий герой будет олицетворять этот закон. Он будет сражаться не ради добычи, как это делают наши наемники, а ради идеи. Против идеи, ярости наших воинов и ума Ганнибала может оказаться недостаточно.

– Тогда мы насыпем на эту идею столько золота, что она захлебнется, – воскликнул Баал-Хаммон. – Мы пошлем столько серебра в Испанские земли, что Барки смогут купить кого угодно и сколько угодно новых наемников, союзников, друзей, купить все. Потом мы разожем

пламя в Сицилии, в Греции и в самой Италии. Пусть их герой бежит по всему свету, как пес на привязи.

– А я, – прошептала Танит, и в ее глазах вспыхнули зеленые огни, – я позабочусь о том, чтобы семена раздора упали на благодатную почву в самом Риме. Зависть к его победам – это оружие будет страшнее ливийского копья.

– Да будет так, – произнес Баал-Хаммон.

В эфире, после совета, Марс и Минерва встретились на нейтральной территории у подножия небесных конюшен, где кони Солнца готовились к своему ежедневному пробегу.

– Ну что, сестра, – начал Марс с неохотой. – Как ты представляешь его первую победу, наше творение, это мальчик?

– Он не выиграет её на поле боя, – ответила Минерва, глядя, как переливаются её волосы. – Он выиграет её здесь, – она указала пальцем на свой висок. – Он увидит то, чего не видят другие. Возможно, он поймёт, что для победы над Карфагеном не обязательно сражаться с Ганнибалом в Италии, если тот решится всё-таки напасть на Рим. Ему нужно будет ударить по самому Карфагену, по его корням, только в этом случае возможна победа.

– Ударить в Африку? – усмехнулся Марс. – Смелая мысль, безумная, как я люблю. Ему понадобится для этого вся моя отвага.

– И весь мой разум, – парировала Минерва. – Ибо одного мужества мало. Нужно будет убедить сенат, найти союзников, подготовить флот. Все это – задачи для ума.

В это время Венера и Диана стояли у серебряного источника, в котором купались звёзды.

– Спасибо, сестра, – сказала Венера. – За то, что защитишь его от низменных страстей. Я дарю ему способность любить, но ты убережешь эту любовь от разлагающей силы похоти. Когда пройдёт его весёлая бурная молодость, то его сердце должно принадлежать Риму и той единственной женщине, истинной любви.

– Он будет верен ей, как лань своему лесу, – кивнула Диана. – Но помни, даже я не могу защитить его от боли утраты. Если он полюбит глубоко, он будет страдать глубоко, таков закон.

– Я знаю, – грустно ответила Венера. – Но лучше страдать от любви, чем утонуть в грязи порока.

А Вулкан в своей кузнице уже начал работу. В этот раз он не ковал доспехи, а взял кусок чистейшего небесного железа и начал выковывать из него стержень, основу неколебимости и твёрдости. С каждым ударом молота этот стержень становился прочнее.

– Стойкость... – бормотал он. – Терпение... Пусть ничто не сломит его, ни предательство, ни клевета, ни долгие годы войны.

Через четыре дня после визита аугура Рим проснулся под странным небом. Солнце взошло, но свет его был рассеянным, молочным, будто сквозь тончайшую ткань. На Форуме, у подножия Капитолия, собралась толпа. Люди указывали на статую Юпитера. Из глаз мраморного бога медленно сочилась вода, словно слезы, а жрецы в смятении воздевали руки к небу.

В это время с Марсова поля прибежал запыхавшийся легионер. – Орлы! – кричал он. – Орлы легионов, стоящих лагерем у города, все как один, повернули головы на восток и издают крики. Никто не может заставить их замолчать.

А на рыбном рынке у Тибра торговец разрезал огромного тунца и обнаружил у него в брюхе идеально отполированный, сияющий кусок янтаря, внутри которого была застыла маленькая, совершенная золотая статуэтка волчицы, вскармливающей двух младенцев.

Весь город заговорил о знаменьях. Одни видели в них предвестие новой беды, другие – надежду. Сенат и жрецы собрались на экстренное заседание, дабы истолковать волю богов.

А в дом Корнелиев стали стекаться родственники, друзья, любопытные. Публий Сципион выглядел подавленным и величественным одновременно. Он понимал, что его семья оказалась

в центре божественной бури и опасался этого. Помпония же, напротив, была спокойна. Сидя в своем кресле, она гладила живот и смотрела в окно на молочно-белое небо. Она знала, это были не слезы Юпитера, это были слезы Венеры, слезы радости и надежды. Тень будущего, длинная и определенная, уже легла на Рим. И в центре этой тени стоял дом Сципионов, где в тепле материнского чрева уже билось сердце того, кому предстояло стать и щитом, и мечом, и который уже был готов появиться на свет. Ей послышался шепот: «... время пришло...».

Роды начались с первыми сумерками и были по-настоящему тяжелыми. Двое суток ребенку что-то не позволяло появиться на свет. Помпония, обессиленная и покрытая липким потом, металась на своем ложе, ее крики были уже хриплые и тихие. Светильники, казалось, гасли и разгорались в такт ее схваткам, а за окном все это время бушевала гроза, молнии рвали небо над Римом, сопровождаемые раскатами грома.

В одну из схваток Помпонии послышался всего на мгновение скрежет голоса, не похожий на тот, что иногда отдавался у нее в голове: «... Ваши боги попытались забрать у нас нашего сына и теперь мы имеем право забрать твоего...»

Акушерки, опытные и выдавшие всякое, начинали уже перешептываться. Они поливали пол отварами богородичной травы, чтобы ускорить дело, жгли ароматические смолы, чтобы отогнать злых духов, но ничего не помогало. Казалось, невидимая сила сжимала чрево Помпонии стальными тисками, не желая отпускать ребёнка. Публий нервничал, метался по соседнему залу, сжимая кулаки до хруста, но был бессилен и не мог помочь.

На рассвете третьего дня, когда силы, уже казалось, окончательно оставили Помпонию, и акушерки уже украдкой обменивались сочувствующими взглядами, наконец случилось чудо. Гроза стихла так же внезапно, как и началась. В разрыве туч показался первый луч солнца, он упал прямо на изможденное лицо роженицы. И в этот миг случилось волшебство рождения. Младенец явился на свет в тишине, последовавшей за последним, решающим усилием Помпонии. Его первый крик был полнотонным, властным и требовательным возгласом, похожим на клекот орленка, впервые ощутившего под собой пропасть, крик полный силы и желания жить. В наступившей тишине акушерка, принимавшая ребенка, ахнула, задрожавшими руками поднося его к свету.

– Мальчик! – выкрикнула она, и голос ее задрожал, – смотрите, на плече знак.

На крошечном, еще влажном плечике младенца, прямо под ключицей, алело родимое пятно. Совершенный, будто выведенный рукой знак, в точности повторяющий изгиб свернувшейся кольцом змеи.

Мальчика, по сложившемуся обычаю, нарекли Публием, в честь отца. Дом Корнелиев наполнился радостью и ликующим смехом, смешанным с суеверным страхом. Рабы и слуги шептались в углах, бросая на колыбель испуганные взгляды. Публий старший, глядя на сына, испытывал отцовскую гордость, этот ребенок был желанным и будет любим в этом доме.

Настоящее испытание ждало их, когда ребенку исполнилось несколько лун. В одну из безветренных, душных ночей служанка спала на циновке у самой колыбели. Ее разбудил знакомый, леденящий душу холод, тот самый, что она чувствовала когда-то в спальне господ, но боялась открыть глаза и посмотреть на причину. В этот раз она открыла глаза и замерла, парализованная ужасом. Там был змей, его гигантское, переливающееся в лунном свете тело обвивало плетеную колыбель, образуя вокруг младенца стену из плоти и чешуи. Голова чудовища покоилась на груди ребенка, рядом с его крошечной ручкой. Мальчик не плакал, он спал глубоким, безмятежным сном, и на его личике застыло выражение детского спокойствия. Его пальчики, маленькие и розовые, сжались вокруг холодной, мерцающей чешуи, словно находя защиту. Служанка в страхе отползла на коленях, а затем, поднявшись, бросилась прочь, ее крик огласил весь дом. Публий и Помпония вбежали в детскую и застыли на пороге, как вкопанные. Зрелище было одновременно ужасающим и нарушающим все законы природы. Чудовище из

древних сказок как будто охраняло их сына с какой-то нежностью. Публий схватился за рукоять кинжала, висевшего на стене в спальне.

– Не двигайся! – прошипел он своей жене, заслоня её собой, его лицо исказила гримаса ярости и страха. – Я прикончу эту тварь.

– Нет! – её голос прозвучал как приказ. Лицо Помпонию было бледным, как статуя, но глаза горели огнём. Она отстранила мужа и сделала шаг вперёд, к колыбели, протянув руку.

– Не смей, Публий, это не враг, это его страж, это знак, данный нам свыше. Смотри же, Змей не причиняет ему вреда.

Змей и вправду не причинял вреда и, услышав голоса, медленно поднял свою голову. Его молочные, светящиеся изнутри глаза обвели их безразличным взором. Затем, не выражая ни малейшей спешки, он плавно развернул свои сверкающие холодным светом кольца и так же бесшумно, как призрак, скользнул в темноту коридора, растворившись в ней без следа.

Если бы Публий младший уже умел говорить, то сказал бы своим встревоженным родителям, что сейчас у него в голове прозвучал впервые шёпот богов: «... ты наш дар этому миру...».

Наутро дом Сципионов оказался в настоящей осаде, слух о визите змея распространился по Риму со скоростью света. Кто-то верил, а кто-то говорил, что это лишь сказки. Но все-таки у ворот собралась разношерстная толпа зевак, любопытные плебеи, важные матроны в носилках, торговцы, бросившие свои лавки, и жрецы всех мастей. Все они желали посмотреть на мальчика. Но когда мальчика представили на обозрение, все разочарованно разошлись: обычный младенец, все в нем было обычно, и отличительные черты не проявлялись.

Спустя три дня в атриум Сципионов явилась делегация во главе с верховным авгуром, почтенным Луцием Клавдием. Он был стар, кожа его была похожа на пергамент, но глаза источали пронизательность. Церемония осмотра была выдержана в строжайших древних традициях. Авгур окурил комнату дымом священных трав, произнес молитвы, а затем долго и пристально изучал младенца. Он склонился над знаком на его плече, вглядываясь в каждый изгиб, словно читая книгу. Его тонкие, дрожащие от старости пальцы осторожно провели по коже ребенка, не касаясь ее, чувствуя исходящую от знака энергию. Он задавал вопросы Помпонию и Публию, внимательно выслушивая каждое слово, затем он удалился в таблинум для размышлений, а весь дом, от хозяев до последнего раба, замер в напряженном ожидании.

– Граждане Рима, – начал он, и его голос заполнил собой все пространство, заставляя слушать. – Мы имеем дело с явлением исключительным, выходящим за рамки обычных знамений. Змей – существо сакральное, многоликое, хранитель подземных богатств, символ самой земли, ее плодородия и целительной силы. Змей, сбрасывая кожу, причастен к великой тайне вечного обновления, к тайне, граничащей с бессмертием. Но глаза эти – молочные очи, что видят не наш мир, а мир иной, мир чистых сущностей и воли богов, – это знак высшего откровения. Знак того, что перед нами не просто послание, а посланник. Он сделал паузу, и его взгляд встретился с взглядом Публия-старшего.

– У меня не осталось никаких сомнений. Публий Корнелий, Ваш дом удостоился величайшей чести. Вам было явление самого царя небес, Юпитера в его древнейшем обличье, в том облике, в котором ему поклонялись на наших семи холмах еще до того, как Ромул провел свою первую борозду. Бог был здесь, в ваших стенах.

В атриуме повисла гробовая тишина.

– Юпитер не просто даровал вам сына, – авгур медленно повернулся к колыбели, и его рука простерлась в сторону младенца. – Он вручил Риму своего избранника. Он отметил этого младенца как орудие своей воли. Ваш сын не принадлежит только вам, он принадлежит всей Республике. Его судьба будет неразрывно и навеки сплетена с судьбой Рима. Вам выпала великая честь воспитать того, кого избрал и отметил своим перстом сам Юпитер. Но помните: никто не должен знать об этом, только те, кто находится здесь и сейчас. Не будем давать поводов

черни беспокоить мальчика и этот дом. Пусть он выполнит свою миссию как обычный человек, а не как посланник богов. Официальное толкование прозвучало как высшее благословение.

Той же ночью, когда слуги разошлись, а пламя в лампадах догорало, опуская покои в полутьму, Публий Старший и Помпония остались наедине в таблинуме. Между ними была тишина, немой ужас и трепет от происходящего. Они стояли, не касаясь друг друга, пока, наконец, Публий не сделал шаг и не обнял жену. Он чувствовал, как мелко дрожит её тело под тонкой одеждой.

– Что мы вырастим в этих стенах, Помпония? – глухо спросил он, глядя вверх её головы в темноту. – Избранника богов или проклятие для нашего рода?

Она прижалась лбом к его груди, туда, где под туникой билось ровное, твердое сердце, и её голос прозвучал тихо, но с убежденностью, которой не было у него.

– Мы вырастим достойного сына, – сказала она. – Все остальное – воля богов. Они дали нам его не для того, чтобы мы сейчас дрожали, а для того, чтобы защищали, пока сможем. – Она замолчала, и её пальцы судорожно сжали складки его туники.

С этого дня змей больше не появлялся, но его незримое присутствие витало в доме. Мальчик рос не по дням, а по часам, и его развитие поражало не только физической крепостью, но и недетской, сосредоточенной серьезностью. Взрослые, даже самые надменные, под этим взглядом невольно опускали глаза, смущенные и приниженные.

Однажды, когда Публию было около пяти лет, он играл в залитом солнцем перистиле с другими детьми знатных родов. Завязалась обычная детская ссора из-за игрушечного коня, выточенного из слоновой кости. Самый крупный и задиристый из мальчишек, сын одного из влиятельнейших сенаторов, грубо толкнул маленького Публия, пытаясь отнять у него заветную игрушку. Все присутствующие – дети, рабы, педагоги, наблюдавшая из окна Помпония – замерли в ожидании привычного исхода: слез, яростного сопротивления или жалоб. Но Публий не сделал ничего из этого, не заплакал и не закричал. Молча, с невозмутимым спокойствием, отступил на один шаг, выпрямил спину и устремил на обидчика свой взгляд, не произнеся ни единого слова. Сын сенатора отшатнулся, будто получив удар, его наглое выражение лица сменилось на маску страха. Он побледнел, бросил коня, как раскаленный уголь, и, бормоча бессвязные извинения, пулей вылетел из перистилия. Остальные дети смотрели на младшего Публия со страхом. Помпония, наблюдавшая за этой маленькой сценой, поняла все окончательно и бесповоротно. Ее сын не просто был отмечен богами, он был сосудом, в который боги вложили частицу своей божественной воли. Змей, приползший в их брачное ложе, не просто подарил ей ребенка, но и вложил в его колыбель семена своей воли. И теперь это семя прорастало, крепло и наливалось силой, готовясь однажды изменить ход истории, сокрушая на своем пути все. Она посмотрела на высокое небо, где медленно плыли облака, принимая причудливые формы, и ей снова почудилось в их очертаниях знакомое, чешуйчатое, бесконечно длинное тело.

Глава 3. Учитель и Бог

Глава 3. Учитель и Бог.

Того, кто много славных дел своей рукою совершил, Чьи подвиги ещё живут, кому дивятся все народы, Того отец в одном плаще сам вывел от подруги

– Авл Геллий. *Аттические ночи. VII, о юности Публия*

Политический строй Рима этого времени напоминал сложный, живой и порой противоречивый организм. Это была смешанная республика, где элементы монархии, аристократии и демократии находились в хрупком равновесии. Система строилась на совокупности законов, неписаных обычаев и практики.

Существовали три столпа власти: магистратуры, сенат, народ. Магистратуры были исполнительной властью, строго иерархичные, коллегиальные и краткосрочные, обычно на один год. Карьера патриция или богатого плебея была чётко расписана:

Квестор – первая ступень, с 27 лет. Финансисты и казначеи: ведали казной в Храме Сатурна, сопровождали консулов в провинциях, отвечали за снабжение войск. Должность давала пожизненное место в сенате.

Эдил – не обязательная, но важная для популярности ступень. Отвечали за благоустройство города, дороги, водопроводы, рынки, раздачу хлеба, организацию публичных игр. Тратили личные средства, чтобы завоевать расположение толпы.

Претор – уже высокая должность. Главная функция – отправление правосудия в городе. Второй претор разбирал тяжбы с участием людей, не являвшихся гражданами Рима. Преторы обладали империем – высшей властью, включавшей право командовать войском и вершить суд.

Консул – вершина карьеры, царская власть на год. Обладали высшим империем. Верховные главнокомандующие, председатели в сенате и народных собраниях, высшие магистраты. Их именами называли год. Чтобы избежать узурпации, они избирались в паре и могли наложить вето на решение коллеги. После года полномочий становились проконсулами, получая в управление провинцию, например, Сицилию или Корсику.

Цензоры избирались раз в 5 лет на 18 месяцев из бывших консулов. Самая почётная и авторитетная должность. Проводили ценз – перепись граждан с оценкой имущества для распределения по военным и налоговым разрядам. Составляли список сенаторов, обладая правом исключить недостойных за аморальное поведение. Заключали государственные контракты на строительство дорог и храмов.

Были и особые магистратуры.

Диктатор. Назначался консулами в экстренный случай на 6 месяцев по решению сената. Обладал неограниченным империем, отменявшим власть всех других магистратов. В 235 г. до н.э. эта должность ещё не была дискредитирована и считалась священным инструментом спасения Республики.

Плебейский трибун. Священная и неприкосновенная должность, защитник прав плебеев. Обладал правом вето на любое решение любого магистрата, сената или собрания, если оно ущемляло интересы плебея. Мог созывать плебейский совет и сенат. Его дом должен был быть всегда открыт для любого гражданина.

Сенат – фактический мозг и центр Республики. Это было не выборный орган, а собрание примерно 300 отцов, бывших магистратов, пожизненно. Его власть основывалась не на законе, а на авторитете – непререкаемом моральном и политическом весе. Под его контролем находились государственная казна и внешняя политика. Назначение провинций консулам и преторам. Принятие сенатус-консультов – рекомендаций для магистратов и народных собраний, которые на практике были равносильны законам. Заседания проходили в Курии или в освя-

щённых местах. Решения принимались без формального голосования, путём оценки мнения наиболее уважаемых сенаторов. Консул-председатель обращался к ним по старшинству.

Народные собрания. Суверенный источник власти, но крайне архаичный и управляемый аристократией.

Центуриатные комиции. Военно-имущественное собрание. Граждане делились на 193 центурии по имущественному признаку. Богатейшие, составлявшие меньшинство, имели большинство центурий. Избирали консулов, преторов, цензоров, объявляли войну и мир, выступали как высшая судебная инстанция.

Трибутные комиции. Собрание по территориальным округам – трибам. Принимали законы, избирали низших магистратов – квесторов, эдилов, рассматривали апелляции по штрафам.

Солнце стояло в зените, превращая Рим в гигантскую печь. Все вокруг над форумом дрожало от зноя, но в глухих переулках Палатинского холма царил тенистый прохлад. Именно здесь, в одном из таких переулков, остановился Лисий из Афин. Перед ним возвышались ничем не примечательные снаружи, но мощные и неприступные ворота дома Корнелиев. Дубовые створки, окованные бронзой, казались неприступными. Лисий, достигший уже сорокалетнего возраста, в его поношенной, но всегда безупречно чистой греческой хламиде, чувствовал себя чужим в этом городе. Он был философом-стоиком, учеником Хрисиппа, и все его позитки умещались в логических умозаключениях и ясности ума. Рим с его грубыми нравами, культом предков и воинственной спесью казался ему оплотом варварства. Его учитель в Афинах, узнав о бедственном положении Лисия, написал письмо своему старому знакомцу, римскому патрицию. «Иди к Корнелиям, – сказал учитель Лисию, – сейчас они ищут учителя для своего сына, кроме этого мне ответили в письме, что Корнелии ценят греческую образованность. Обучай их сына, это даст тебе кров и пищу».

– Кров и пища, – Лисий с горечью усмехнулся про себя. Он, некогда блиставший в Афинской стое, вынужден теперь был наниматься в педагоги к какому-то римскому щенку. Он уже видел в своих мыслях избалованного, капризного мальчишку-римлянина, который вместо изучения наук будет размахивать палкой и изображать из себя полководца.

Привратник, могучий раб, выслушав о причинах посещения, молча пропустил его внутрь. И вот Лисий оказался в атриуме – сердце римского дома. Его впечатлила роскошь и порядок в доме. Пол из разноцветного мрамора, в центре неглубокий бассейн – имплювий, где плавали несколько оранжевых карпов. Вдоль стен в нишах стояли восковые маски предков. Их пустые глазницы, казалось, следили за каждым входящим. От всего вокруг веяло достоинством и холодом.

Его встретил сам хозяин дома, Публий Корнелий Сципион. Лисий увидел, что это был мужчина с коротко стриженными седеющими волосами, лицо с морщинами и шрамами.

– Лисий из Афин? – его голос был спокойным, ровным, безэмоциональным. – Меня уверили, что ты сведущ в науках.

– Я стараюсь следовать по стопам Зенона и Хрисиппа, господин, – почтительно склонил голову Лисий.

– Стоик? – в голосе Сципиона мелькнул интерес. – Хорошо, меня это устраивает, вот, познакомься с моим сыном.

Он жестом подозвал мальчика, наблюдавшего из тени колоннады. Тот вышел на свет, и Лисий замер. Ему было не больше девяти лет, был одет в простую белую тунику, подпоясанную кожаным ремешком. До этой встречи Лисий видел сотни римских детей – громких, резких, с лицами, уже пытавшимися копировать суровые маски отцов. Этот мальчик был иным и стоял неподвижно, его осанка была прямой, но естественной, без показной выправки. Глаза серые,

необычайно ясные, глубокие и удивительно красивые, длинные волосы. Мальчик смотрел на Лисия внимательным, изучающим взглядом.

– Публий, – сказал отец, – это Лисий. Он будет учить тебя греческой грамоте и мудрости. Слушайся его и внимай всему, что он будет тебе говорить.

Мальчик кивнул, не опуская взгляда, – Приветствую тебя, учитель, – его голосок был тихим, но четким, без тени робости.

– Обучи его грамматике, риторике и основам логики, – вновь обратился к Лисию Сципион старший. – Ему необходимо хорошее знание греческого, и усмири его, если потребуется. Ум у него быстр, а характер тяжелый, Публий часто бывает своеволен.

Лисий почтительно кивнул, но подумал про себя: «Интересно, как это римлянин предлагает мне усмирять методами стоицизма? Я должен не усмирять, а объяснять, мальчик сам должен понять, что познание ведет к добродетели».

Их первые занятия проходили в таблинуме, кабинете хозяина дома. Комната была строгой: деревянный стол, несколько кресел, полки со свитками, запах воска, древесины и легкой пыли. Лисий начал с азов, с алфавита, с простейших фраз на греческом и ожидал сопротивления и капризов. Но очень быстро его скепсис сменился сначала интересом, а затем и изумлением. Мальчик схватывал удивительно быстро все: буквы, их звучание, правила построения фраз. Уже через неделю Публий строил простые предложения, через месяц бегло читал адаптированные тексты, у него было интуитивное понимание структуры языка, его скрытой логики. Лисий развернул перед Публием драгоценный свиток с «Илиадой» Гомера.

– Это основа основ, Публий, здесь и героизм, и страсть, и гнев, и мудрость богов. Здесь начало нашей общей эллинской, то есть, человеческой культуры.

Лисий начал читать, переводя гекзаметры на латынь, объясняя предысторию похищения Елены, сбор ахейцев, стихи об Ахиллесе. Публий сидел, уставившись в покрытую письменами кожу, его лицо было спокойным и внимательным.

– Представь, – сказал Лисий, увлекшись, – этот великий город, Трою. Его стены, воздвигнутые, по преданию, самим Посейдоном, были неприступны. Ахейцы высадились у Скироса...».

Внезапно Публий перебил его: – Они высадились в Авлиде, учитель, не у Скироса. Скирос – это где Фетида скрывала Ахиллеса.

Лисий опешил, он действительно ошибся, увлекшись: – Ты совершенно прав, мой ученик, в Авлиде. Прости мою оплошность, но откуда ты знаешь, тебе кто-то уже читал ее?

Публий не ответил. Вместо этого взял вощеную табличку, острый стилус и начал водить по мягкому воску, выводя линии. Сначала это был извилистый берег с удобной бухтой, потом дуга большого залива, затем ряд холмов, идущих вглубь суши.

– Что ты рисуешь? – спросил Лисий, с любопытством наклоняясь.

Мальчик не отрывался от работы, его пальцы двигались с уверенностью, будто обводя невидимый контур. – Они встали лагерем здесь, – он ткнул стилусом в точку на берегу нарисованной бухты, – место неудачное. Пресная вода далеко, в устье той реки, – он провел линию к изгибу, который был Скамандром. – Ветер постоянно дул с моря, он приносит запах гниющих водорослей и смолы. Они день и ночь чинили корабли, смола в котлах постоянно кипела.

Лисий замер и смотрел на возникающую на табличке карту, это была точная карта троянского побережья. Мыс Сигей, река Скамандр, равнина, где происходила битва, все было на своих местах. Более того, мальчик описывал вещи, которых не было ни в тексте Гомера, ни в известных Лисию комментариях. Запахи, бытовые детали лагеря.

– Публий, – голос учителя дрогнул, – откуда ты это знаешь? Ты видел какие-то карты, твой отец, может быть, показывал тебе?

– Нет, – сказал мальчик, подняв свои глаза. – Я просто слушаю, как ты говоришь, и вижу всё это, мне кто-то посылает образы, картинки. Я вижу, как солдаты ругаются из-за солёной

рыбы и червивых сухарей. Я вижу, как их бронзовые доспехи покрываются зелёной плёнкой от солёного воздуха.

Лисий отшатнулся, как от прикосновения раскалённым железом, лёгкий, суеверный холод пробежал у него по спине. Это не могло быть просто живым воображением, которое он поощрял бы у другого ученика, это было знание. Лисий вспомнил обрывки слухов, которые слышал на римских улицах, о змее, посетившем дом Корнелиев, о знаке на плече младенца. Лисий отмахивался от этого как от суеверных басен невежественных римлян, но сейчас почувствовал, как твёрдая почва логики уходит у него из-под ног.

– Кто, Публий, кто посылает тебе эти картинки? – спросил Лисий.

Мальчик закрыл глаза, его лицо исказилось гримасой усилия, – Не знаю, но я чувствую, что он велик. Я чувствую гром где-то далеко и его власть над нами.

В тот миг свет лампы померк, а потом вспыхнул с удвоенной силой, отбрасывая резкие тени. Атмосфера в комнате стала тяжёлой, наполненной запахом озона, словно после удара молнии. Публий вздрогнул и выпрямился, его зрачки расширились.

– Он здесь, – проговорил Публий. И в его голове появился образ: он увидел невысокий холм, а на нём могучий мужчина в белоснежной одежде, опирающийся на скипетр из слоновой кости, его борода была выющейся, как грозное облако, а глаза метали искры.

– Они воспевают своих героев, воспевают Ахиллесову ярость и Гекторову доблесть. Они превратили Троию в позолоту для своих поэм, но забыли правду. Но ты должен увидеть другую сторону.

Видение сменилось, теперь Публий увидел уставших, потных мужчин с пустыми глазами. Они копались в грязных палатках, их тела были покрыты струпьями и ссадинами. Слышался лязг меди, но это был не звон битвы, а звук ремонта – кто-то заклепывал треснувший щеколдой щит.

– Они забыли запах смолы и страха, забыли вкус червивой похлёбки, забыли, что десять лет стояли под Троей, вокруг была грязь, тоска и смрад. Они украли у этой истории её плоть и кровь, оставив один лишь позолоченный скелет, – продолжил мужчина.

– Но зачем, зачем ты показываешь это мне, повелитель? – мысленно спросил Публий. – Помни, сын мой, память – это жизнь. Когда правда умирает, умирает и урок. А эти глупцы, – в голосе бога послышался презрительный гнев, – давно уже не учатся, они пережёвывают слова, в которых нет ни капли истины. Твой ум не замутнён догмами учёных глупцов, я наполню твой ум истиной, – грозно произнёс бог.

Видение стало рассеиваться, и Публий пришёл в себя. Свет лампы вернулся к своему обычному состоянию. Атмосфера вокруг снова стала лёгкой, а на скамье сидел бледный Публий, тяжело дыша.

Лисий смотрел на него, а потом на табличку, где всё ещё виднелись нацарапанные контуры бухты.

– Учитель? – тихо позвал Публий, – я вижу картинки и голоса и не знаю, что с этим делать и как их трактовать.

– Продолжаем урок, Публий. Надо подумать, что можно с этим сделать. Расскажи мне ещё, расскажи всё, что видишь и слышишь, но запомни сейчас и навсегда. Будь осторожен и думай, кому рассказывать об этих голосах, а кому нет. В злых руках эта информация не должна никогда оказаться, ибо это может тебя погубить. Люди могут решить, что ты душевнобольной, и тогда все двери для тебя закроются.

Лисий попытался вернуться к тексту Гомера, но уже не мог сосредоточиться. Он видел, как Публий, закончив карту, отложил табличку и уставился в окно, на солнечный зайчик, но взгляд его был устремлён куда-то далеко, за стены дома, за пределы Рима, в ту самую бухту, которую он только что нарисовал.

В тот день Лисий закончил занятие раньше, сославшись на внезапную головную боль, ему нужно было побыть одному. Он удалился в свою скромную комнату, предоставленную ему в доме, и долго сидел на краю жёсткой кровати, уставившись в белую стену. Он, афинянин, стоик, веривший лишь в мировой разум, проявляющийся через незыблемые законы природы и логики, столкнулся с чем-то иррациональным, не укладывающимся ни в какие рамки.

Прошло несколько дней, внутреннее напряжение Лисия росло. Публий вёл себя как обычно, был внимателен, усерден, почтителен. Но эта странная способность проявлялась вновь и вновь. Рассказывая о битве при Фермопилах, мальчик пересказал героическую историю о трёхстах спартанцах, он описал, как камень под ногами царя Леонида был горячим от полуденного солнца и скользким от пролитой крови, и как эхо персидских боевых кличей, многократно отражаясь от скал, доносилось до защитников прохода уже искажённым, похожим на отдалённый рёв зверя.

Лисий больше не мог выносить этого в одиночку. Ему нужен был совет, взгляд со стороны, пусть даже и не совпадающий с его. В Риме жил его старый друг, грек по имени Филолай, они вместе начинали учиться в Афинах, но их пути разошлись. Лисий углубился в стоицизм, Филолай же увлёкся мистическими учениями пифагорейцев, верой в переселение душ, божественную гармонию сфер и магию чисел. Лисий всегда относился к его идеям со снисходительной улыбкой, считая их причудой. Но сейчас именно такой, нестандартный, мистический взгляд был ему необходим. Лисий разыскал Филолая в его бедном жилище у подножия Авентина, среди свитков, амулетов и странных геометрических чертежей. Тот, худой, с впалыми щеками и горящими фанатичным огнём глазами, с радостью встретил старого друга.

– Лисий, какой ветер занёс тебя в мою берлогу?

– Приветствую тебя, мой старый друг. Мне нужен твой совет, Филолай, как специалиста.

Лисий в общих чертах описал ситуацию, не называя имён, говоря о мальчике из знатной семьи, а Филолай слушал, всё более оживляясь.

– Интересно, очень интересно. Ты говоришь, он как будто видит образы и слышит голоса?

– Мальчик уверяет, что да.

– Приведи меня к нему, Лисий. Позволь мне взглянуть, возможно, у него яркое воображение, либо болезнь.

Подумав и в душе боясь за мальчика, к которому успел привязаться, Лисий решил рискнуть и привёл Филолая в дом Сципионов под благовидным предлогом, якобы тот, как знаток греческой поэзии, может дать мальчику несколько уроков. Филолай, войдя в атриум, тихо прошептал Лисию: – Сильное место, давление здесь прямо ощутимое.

Публия привели на урок, и Филолай начал непринуждённую беседу, спрашивая его о любимых героях, о том, что он думает о судьбе Гектора, о гнев Ахиллеса. Публий отвечал умно и сдержанно, как и подобает юному римлянину. Затем Филолай, как бы между прочим, попросил его что-нибудь нарисовать. Мальчик взял табличку, и Филолай начал рассказывать миф о путешествии аргонавтов.

И вновь пальцы Публия ожили, на воске стали появляться корабли и волны, точные очертания пролива Босфор, черты побережья Колхиды. Он описал, как пахнет смолой и потом на борту «Арго», и как утомительно монотонно звучала песня гребцов в открытом море, сливаясь со скрипом уключин. Филолай не проронил ни слова, сидел, впившись взглядом в мальчика, и Лисий видел, как его худое лицо постепенно теряет последние краски, становясь восковым. Филолай уже даже не смотрел на табличку, он смотрел только на Публия. Вскоре мальчик, утомленный, видимо, пристальным вниманием незнакомца, начал клевать носом, и его отвели в покои для послеобеденного отдыха. Лисий и Филолай остались одни в опустевшем табличку.

– Ну? – с надеждой и страхом в голосе спросил Лисий. – Просто необычайно живое воображение, не так ли? Как у многих одаренных детей бывает, же?

– Нет, друг мой, это не воображение. Воображение создает образы из обрывков известного. Этот же мальчик черпает образы из источника, недоступного нам. И он точно не болен, с головой у него все в порядке.

– Какой источник? – голос Лисия дрогнул.

– Память, – прошептал Филолай, – но не его собственная, это прямое видение. Он не представляет Трои, он ее видит сейчас, здесь, и это не его память, это память бога, который посылает образы мальчику.

Лисий сглотнул, ему стало не по себе.

– Покажи мне, где спит мальчик.

Лисий повел друга через внутренний дворик в спальню мальчика. Комната была аскетичной: простая кровать, сундук для одежды, кувшин с водой. Дверь была приоткрыта. Они заглянули внутрь. Публий спал на своей узкой постели, его дыхание было ровным и спокойным. Полоска заходящего солнца, пробивавшаяся через решетчатое окно, золотистой пылью ложилась на его лицо и белую тунику. Филолай замер на пороге, выпрямился, его руки опустились вдоль тела. Он не двигался, его лицо стало абсолютно неподвижным, глаза закатились, оставив лишь белки.

Вдруг Филолай ахнул, словно от удара, и отшатнулся, прислонившись спиной к холодной стене. Его тога была мгновенно пропитана холодным потом. Он дрожал мелкой дрожью.

– Ты видел? – прошептал он, и в его голосе был ужас, смешанный с восторгом.

– Что? Я ничего не видел, – Лисий был в панике. Он видел лишь спящего ребенка и солнечный луч.

– Над ним – Филолай с трудом ловил дыхание, его слова были прерывисты. – Сияние бледно-золотое, как на заре. И в нем образ, я не могу разглядеть ясно. Он меняется, переливается. То это женщина в шлеме, с лицом, то юноша с луком и лирой, от которого исходит ослепительный, чистый свет, режущий глаза. Они словно спорят за него, окутывая его своими лучами, оспаривая друг у друга. Минерва, Аполлон, я не знаю, кто из них. Но это боги, Лисий, настоящие боги. Их воля витает над ним, этот мальчик особенный, я таких еще не встречал.

Лисий стоял, не в силах вымолвить ни слова.

– Слушай меня, Лисий, и запомни хорошенько. Ты не можешь учить его как обычного ребенка. Ты не можешь втиснуть его ум просто в грамматику и риторику. Его разум не обычный сосуд, который нужно наполнить знаниями. Твоя задача – помочь ему понять то, что ему уже дано, научить его управлять этим даром и не бояться. Научить его отличать истинное знание от простых фантазий, иначе это пламя сожжет его хрупкий разум изнутри, и мальчик сломается.

Они молча вышли из дома Сципионов. Лисий провожал друга до ворот, чувствуя себя совершенно разбитым и опустошенным. Возвращаясь в таблинум, он остановился перед столом, где лежала табличка Публия с картой Трои. Воск уже начал слегка подтаивать от жары. Он провел пальцем по гладкой поверхности, стирая часть линий. Здесь, на этой невзрачной поверхности, ребенок вывел карту, которую мог бы нарисовать лишь опытный стратег, много лет изучавший местность, или очевидец, стоявший на том берегу.

Лисий поднял голову и посмотрел на маски предков, молчаливо взиравшие на него из ниш атриума. Восковые лица с пустыми глазами, хранители славы и долга рода Корнелиев. И ему вдруг, с пронзительной ясностью, стало понятно, что он, Лисий из Афин, философ стоик, оказался втянут в историю, которая будет написана в свитках и на полях грядущих великих сражений и легенд.

С этого дня его уроки с Публием изменились кардинально. Он меньше требовал механического заучивания и больше задавал вопросов. «Почему Ахиллес поступил именно так? Что бы ты сделал на его месте? Не по тексту, Публий. По тому, что ты видишь. Что чувствуешь?» И Публий стал раскрываться. Публий не мог объяснить, откуда он знал то, что знал. Это приходило к нему как озарение, как вспышка света. Иногда, глядя на карту Италии, он мог

указать пальцем на какую-нибудь ничем не примечательную долину и сказать: «Здесь будет трудно развернуть конницу, лошади увязнут».

Однажды вечером, когда они разбирали знаменитую речь Перикла, Публий внезапно оторвался от свитка и поднял на Лисия глаза.

– Учитель, ты боишься меня?

– Нет, но я испытываю трепет, Публий, – честно ответил Лисий. – Трепет перед тем, что в тебе есть, перед даром, который мне не под силу до конца постичь.

– Я тоже иногда боюсь, – тихо признался мальчик, – когда карты в голове становятся слишком яркими, а голоса в голове слишком громкими. Но потом всегда приходит тишина.

Лисий смотрел на него и понимал, что Филолай, наверное, был прав. Его задача не просто учить, а помочь. Помочь этому хрупкому, еще не сформировавшемуся сосуду, в который боги влили знания и память, не разбиться под тяжестью собственного дара.

– Учитель, я часто слышу от голоса в голове имя Ганнибал, ты знаешь что-нибудь про него?

Глава 4. История Ганнибала.

Hannibal ante portas (Ганнибал у ворот)
-древнеримский оратор Цицерон

Солнце, поднимавшееся над акрополем, было плоским, блеклым диском в мареве испарений, пыли и дыма. Казалось, что оно не согревало, а лишь подсвечивало густой, многослойный воздух карфагенской гавани – Котона, принадлежащего великой морской державе. К морской свежести примешивалась сладковатая, дурманящая вязь благовоний, таких как кипарис, мирра, ладан. Там же был запах кузнечного дыма из мастерских у порта, где день и ночь ковалась сталь для наконечников, мечей и скоб для кораблей. Дополнялось всё пылью дорог, пылью складов, пылью надежд и страхов. Гавань кипела, как шумящий муравейник. У длинных каменных молов, уходящих в воду, толпились корабли. Ближе к берегу стояли широкобортовые грузовые суда, их некрашеные борта были исчерчены царапинами и вмятинами, палубы завалены тюками, брусьями и глиняными амфорами, в которых плескались вода, вино, оливковое масло. Чуть поодаль, изящные и стремительные, качались на легкой волне либурины, быстрые разведчики с узкими корпусами и огромными квадратными парусами, способные на невероятную скорость. Их команды, загорелые до черноты, с ловкостью обезьян перебежали по снастям, готовя суда к выходу в море. И, наконец, гордость Карфагена, устрашающие владыки моря – боевые пентеры. Эти плавучие крепости с пятью ярусами весел возвышались над остальными судами. Их борта, выкрашенные в темно-синий и багряный цвета, были увенчаны заостренными таранами, похожими на клювы хищных птиц. На их огромных парусах были широкие красные полосы, символ мощи и гнева Карфагена, знак, наводивший ужас на врагов от Сицилийских проливов до Гибралтара. Звуковой коктейль был не менее сложен, чем запаховый. Глухой, ритмичный скрип тысяч деревянных деталей, мачт, весел, корпусов, сливался в непрерывный гул. Его прорезали пронзительные крики чаек, круживших над портом в надежде поживиться отбросами. Со всех сторон доносилась мешанина голосов, приглушенные, отрывистые команды, отдаваемые капитанами и начальниками порта, тягучие песни рабов, несущих тяжелые мешки с зерном по зыбким сходням, громкая, торопливая речь менял, сидевших за столиками у входа в гавань и звенящих золотыми и серебряными монетами, отсчитывая платежи за провизию и снаряжение.

На самом его краю, в стороне от главных путей, стояли двое: Гамилькар Барка, чье прозвище «молния» стало синонимом стремительности и ярости. Его высокую, некогда могучую, а теперь чуть сутулящуюся фигуру облачал простой льняной хитон, лишенный каких-либо украшений. Он сознательно снял с себя боевые доспехи, золоченый панцирь и пурпурную хламиду полководца. Сегодня он был не просто полководец, а колонист, правитель, основатель новой земли. Его лицо было обветренным и почерневшим от бесчисленных кампаний под сицилийским и африканским солнцем. Сейчас он снова вспомнил и переживал момент унижения, когда ему, не побежденному на поле боя, пришлось складывать оружие по воле трусливых и алчных стариков, продавших честь Карфагена за мнимый мир. Горькая обида, подобная желчи, подступала к горлу, когда он вспоминал, как ему, спасителю города во время междоусобной войны, пришлось возглавить карательные походы против своих же вчерашних наемников, топча конями тех, кто еще недавно сражался и умирал под его знаменами. Сейчас его ум уже видел новый путь на десятилетия вперед, трудное завоевание Иберии, создание новой базы, накопление сил и, наконец, удар, сокрушающий Рим.

Рядом с ним, застыв в такой же неподвижной позе, стоял его девятилетний сын, Ганнибал. Мальчик был строен и тонок, как клинок, еще не побывавший в бою, но уже готовый сокрушать своих врагов. Его смуглое лицо с большими, темными глазами, казалось, впитывало

в себя все вокруг, не упуская ни одной детали. Он видел, как два раба, неся тяжелый ящик, споткнулись о неровный камень на мостовой, и ящик едва не упал в воду, на стражника, лениво прислонившегося к груде канатов. Откуда-то с набережной донесся знакомый запах жареной на углях рыбы, приправленной кориандром и чесноком. Тот самый запах, что стоял возле их дома в Мегаре, где старый слепой нумидиец всегда торговал своей стряпней. Этот запах вызвал в памяти теплое, яркое воспоминание, лицо матери, Имильки, склонившейся над ним вечером, ее улыбку, звук ее голоса, напевавшего колыбельную на старом финикийском наречии. Сердце Ганнибала сжалось от внезапной, острой боли, от осознания, что может не увидеть ее снова.

За несколько дней до отплытия, когда корабли еще только снаряжались в гавани, Гамилькар увел сына из шумного порта в тишину старого города. Они шли по узким, извилистым улочкам, поднимаясь все выше, к акрополю, где среди сияющих мраморных храмов Мелькарта и Танит стояло иное, мрачное здание, храм Баала-Хаммона. Он был сложен из массивных базальтовых блоков, почерневших от времени и бесчисленных дымов. Его стены, лишенные окон, казались слепыми, а низкий, широкий вход напоминал разверстую пасть гигантского подземного чудовища. Уже на подходе запах изменился. Исчезли морская свежесть и запахи рынка. Их сменила тяжелая, неподвижная атмосфера, густая от испарений, которые веками копились внутри. Гамилькар шагнул во тьму, и Ганнибал, сжимая его руку, последовал за ним, чувствуя, как холодный каменный пол забирает тепло из его сандалий. Внутри царил полумрак, едва разгоняемый пламенем факелов, закрепленных в железных кольцах на стенах. Своды храма были намеренно низкими, давящими, они нависали над головами, словно пытаясь раздавить всякого, кто осмелился войти. Аромат был удушливый, с запахом тлеющего ладана, но к нему примешивались иные, более жуткие ароматы: медный привкус крови, гнилостное амбре, исходившее от дренажных канав, куда стекали внутренности жертвенных животных. Стены храма были покрыты выцветшими фресками, сюжеты которых угадывались уже с трудом. Ганнибал рассмотрел изображения процессий, несущих дары, и жертвоприношений, фигуры жрецов с заостренными головными уборами заносили ножи над склоненными головами животных и людей. Лики богов были искажены гримасами мощи и безразличия.

В центре зала пылала гигантская медная чаша-жаровня, установленная в углублении в полу. Пламя, вырывавшееся из неё, было тёмно-оранжевым, почти красным. Из тени за жаровней возникла фигура верховного жреца. Это был древний старец, чьё тело состояло из кожи да костей, обтянутых сухой, тёмной, как пергамент, кожей. В его глазах Ганнибал увидел только молочную белизну, жрец был слеп. Жрец был облачён в длинные одеяния из чёрной шерсти, расшитые серебряными нитями, изображавшими змей и молнии. На голове его красовался высокий головной убор, придававший ему сходство с гигантской погребальной урной. Жрец заговорил, но он не обращался ни к Гамилькару, ни к Ганнибалу. Жрец произносил ритуальные формулы, говорил о вечном гневе, о долге, о жертве, необходимой для возрождения. Слова его были полны угроз и предсказаний бед, но произносились они с ледяным, безразличным спокойствием, от которого кровь стыла в жилах. Гамилькар, не проронив ни слова, вытолкнул сына вперёд, к самому краю пылающей жаровни. Ганнибал почувствовал невыносимый жар. Он обжигал ресницы, сушил слизистую носа и горла. Гамилькар взял руку сына и, не глядя ему в глаза, задержал её над пламенем. Первые секунды Ганнибал не чувствовал ничего, кроме страха, а затем пришла боль. Боль была нарастающей, будто раскалённые иглы впивались в его ладонь, прожигали кожу, достигали кости. Его мозг требовал отдернуть руку, спастись, слёзы выступили на глазах, но Ганнибал сжал зубы, чувствуя хватку руки отца. Сквозь пелену боли и слёз ему начали являться видения. Он увидел море огня, пожирающее город с белыми стенами и красными черепичными крышами, услышал далёкие, искажённые ужасом крики на незнакомом языке, – это были крики римских легионеров. Он почувствовал смрад горячей плоти и крови. Ему внушали ненависть, и Ганнибал принял эту ненависть всем своим детским сердцем.

Ганнибал больше не чувствовал жара, а видел, как огонь подчинялся ему и уничтожал всех врагов на его пути. На протяжении всего действия в глубине зала, за пределами круга света, молча стояли другие жрецы, помоложе, и несколько телохранителей Гамилькара в простых туниках, с мечами за спиной. Старшие жрецы смотрели с одобрением, они читали могущественное заклинание, которое должно было связать судьбу этого мальчика с волей грозного бога. Баал-Хаммон будет ими доволен. Младшие жрецы, некоторые из которых были немногим старше Ганнибала, обменивались испуганными взглядами. Телохранители, ветераны многих кампаний, смотрели с мрачным пониманием. Они прошли через войны и знали, что такое боль и жестокость, они чувствовали, как закаляется воля будущего полководца, и в их взгляде читалось уважение и молчаливое одобрение.

Когда Гамилькар наконец отпустил его руку, Ганнибал медленно опустил её. Ладонь пылала огнём, кожа была красной и покрытой волдырями. Он смотрел на своё обожжённое тело, потом поднял глаза на отца. И Гамилькар увидел то, что хотел. Детская мягкость испарилась, остался лишь холодный, безжалостный блеск. И так, клятва была дана, жертва принесена, дорога в Рим теперь была открыта.

Боги Карфагена в это время шептались: «...Мы не слышим молитв, сложенных в вежливых словах. Мы не внемлем просьбам, лишённым дыма и крови. Наша суть – это соль земли и расплавленная медь, сушь пустыни и ярость волн. Мы – древние Ханаanei, и нас принесли сюда на кораблях в резных кедровых ковчегах. И вот, к нам пришли. Они вошли в святилище: воин, чье чело опалило солнце Испании, и его отрок с горящими, как у пантеры, глазами. Гамилькар и его сын, Ганнибал. Мы принимаем их и слушаем их просьбу...».

Баал-Хаммон, глава пантеона карфагенских богов, был первым, чей дух пробудился в дыме от огня в святилище, и он шептал: «...Они приносят не овец и не плоды, посмотрите. Воин кладет на мои руки – руки Молоха – судьбу своего семени. Он не просит богатства, он требует мести...».

Дым над алтарем сгустился, приняв форму Танит, и её голос шептал: «...Дитя моё, твоя душа чиста. Гамилькар хочет выжечь на тебе знак ненависти к тем, кто за морем. Ненависти, что будет гореть ярче, чем моя луна...».

С тенистых колонн, обвитых бронзой, спустилась прохлада – это проснулся Мелькарт, и он шептал: «Римляне, они заперли нас на этом клочке суши, они – ядовитый змей, который ползёт к нашим амбарам. Они хотят не мира с нами, они хотят, чтобы нас не было. Пусть так и будет, мы дадим им воина, мы дадим им бич Рима. Он не будет знать сомнений, не будет знать пощады...».

Боги приняли жертву Гамилькара и ушли. Дым рассеялся, в святилище снова пахло только сажей и медью. Но договор был скреплён. Боги Карфагена приняли его клятву, дали Ганнибалу свою волю, благословили его, обрекли стать мечом, который поднимет против Рима тень Африки. Пусть этот меч не успокоится, пока не сломается о щиты врага или не утопит в реках крови всю Италию. Пусть начинается новая война.

Соленый ветер, неумолимый и резкий, рвал паруса, завывая в снастях упрямым хором голодных зверей. Для Ганнибала, одиноко стоявшего на носу корабля, эти нескончаемые недели превратились в растянутый во времени урок. Учителем была безжалостная стихия, а учебником – безбрежный, равнодушный океан, могущество и безразличие которого он ощутил впервые. Во время шторма гигантские валы, цвета расплавленного свинца, обрушивались на корпус судна, пытаясь раздавить эту скорлупку, полную человеческих надежд и страхов. Дерево скрипело и стонало, вода хлестала через борт, и каждый миг мог стать последним. А потом наступал штиль, зыбкий, душный, парализующий. Паруса бессильно обвисали, солнце превращало палубу в раскаленную сковороду, а неподвижная, маслянистая гладь воды наводила мысль о вечности, в которой они застряли навсегда.

В последующие длинные ночи по дороге в новый мир, под бесстрастным, усыпанным алмазными россыпями куполом неба, Гамилькар начинал свои уроки. Он показал сыну звезду, которая всегда была на своем месте. «Пока она у тебя за кормой, ты идешь на запад, звезды – верные союзники в этом бурном море». На промасленном полотне, растянутом прямо на палубе, его палец чертил линии будущих маршрутов, объясняя навигацию и стратегию. Он рассказывал о запасах пресной воды, о прочности каждого каната, о дисциплине экипажа, а Ганнибал все слушал и впитывал, как губка.

Когда на горизонте наконец показалась земля, все вздохнули с облегчением: впереди был низкий, желто-серый песчаный клин, увенчанный грубыми, прочными стенами города Гадес. Архитектура Гадеса, древней финикийской колонии, была простой и суровой, подчиненной только необходимости выживания. Камни здесь лепили друг к другу как попало, не заботясь о симметрии, лишь бы стояло прочно. Из запахов ощущалась полынь, пыльца незнакомых трав и едкий, смолистый дым от костров, топившихся невиданной древесиной.

Повсюду сновали иберы – рослые, суровые мужчины с кожей, обветренной до цвета старой бронзы и испещренной замысловатыми синими татуировками, рассказывающими истории их рода и подвигов. Их одежды из грубых, некрашенных шерстяных тканей и звериных шкур казались варварскими. Ганнибал, стоя на дрожащем под ногами причале, впервые видел новые земли и ощущал их кожей, вдыхал их легкими. Это был другой, новый мир – дикий, дышащий силой. Мир, который предстояло покорить или умереть.

Пыльная мгла, поднятая копытами конницы и тяжелыми колесами повозок с припасами, медленно оседала на склонах невысокого, но господствующего над местностью холма. Этот холм Гамилькар Барка выбрал для первой стоянки. Для Ганнибала это стало первым практическим занятием в науке завоевания, продолжением морских уроков, но теперь уже на твердой земле. Его отец сам водил его по периметру будущего лагеря и показал рукой на узкий ручей, серебрившийся у самого подножия. Вода – это жизнь, но и первая из ловушек: ставить лагерь вплотную к нему значит делиться своим дыханием со всяким, кто придет напиться, будь то друг или враг. Поэтому они стояли выше, на расстоянии броска копья, сохраняя контроль над источником, но не завися от его близости. Ганнибал повернул лицо к ветру, дующему с запада, с тех самых неведомых земель, что им предстояло покорить, и почувствовал, как тот несет с собой запах дыма от далеких стойбищ и аромат дикого чабреца. Ветер должен выдувать смрад лагеря и доносить чужие запахи, но не должен помогать вражеским стрелам, если те решат поджечь сухую траву. Холм давал хороший обзор изрезанных долин, троп меж скал, легких дымов дальних поселений. Вокруг Ганнибала был сложный механизм выживания и доминирования захватчиков.

Пока воины вгрызались в твердую землю, возводя частокол и роя глубокий ров, Ганнибал, как тень, скользил между группами иберских наемников и смуглых погонщиков мулов и изучал новый язык. Его слух начинал улавливать в потоке чужих звуков знакомые, ясные очертания. «Месс» – нож, короткий и кривой, висящий у пояса у каждого второго. «Ака» – острое, вероятно, копьё или его смертоносный наконечник. «Барка» – молния. Это слово, ставшее прозвищем его рода, здесь, в Иберии, звучало с особым уважением, смешанным со страхом. Он наблюдал, как воины перед выходом в дозор окропляли клинки своих мечей кровью только что зарезанного кролика, принося его в дар какому-то жестокому богу ущелий и скал, не имеющему имени. Как старейшины соседнего поселения, пришедшие для переговоров, плели сложные, похожие на паутину узоры из веревок разной толщины, решая спор о пастбищах. И ему запомнились иберийские дети, эти полуголые, смуглые мальчишки с серьезными, внимательными глазами, сначала смотрели на него с откровенным подозрением. Ганнибал достал из складок своей туники несколько отполированных морем камушков и показал им карфагенскую игру в бабки. Потом они дети научили его своей игре, метанию коротких легких дротиков в узкую расщелину скалы. Языком жестов, смехом, удивленными возгласами

и взаимным вызовом они нашли общий язык, рожденный в азарте состязания. Через неделю Ганнибал уже мог крикнуть погонщику, чья упряжка застряла в грязи: «Сильнее!» – и тот, широко ухмыляясь, одобрительно кивал и хлестал животных. Он начал понимать слова и саму логику их мыслей. Эта детская дружба стала фундаментом его будущего умения проникать в самую суть менталитета союзника и врага, предугадывать их поступки, говорить с каждым на его, а не на своем языке.

Мир в Гадесе и вокруг нового лагеря был обманчив: за видимым спокойствием скрывалась земля, жившая по своим законам силы. Вскоре последовали и первые уроки войны – мелкие, кровавые и безжалостно практические: внезапные, жестокие налеты на обозы с провиантом, стычки за контроль над единственным бродом через пересыхающую реку, ночные перестрелки в темных ущельях, где противника было не разглядеть, а о его присутствии узнавали лишь по свисту стрел, вылетающих из мрака. Ганнибал с безопасной высоты лагеря наблюдал, как его отец парировал эти угрозы, и видел, как к шатру Гамилькара приводили пленников – оборванных, диких разбойников из племени мастиенов, чья хвастливая удаль мгновенно испарилась перед лицом Гамилькара. Одних, после недолгих, напряженных переговоров с их местным вождем, отпускали, одарив серебряными подвесками и обещаниями большей доли в будущей добыче. Других, тех, чье племя считалось ненадежным или слишком заносчивым, ждала иная, жестокая участь. Однажды, когда отряд вернулся в лагерь, они везли отбитые трофеи и отрубленные головы, насаженные на пики. Получилась холодная, будничная демонстрация силы, адресованная всем – и врагам, и временным союзникам. Гамилькар вышел из шатра и заставил сына смотреть; он показал голову вождя, который еще накануне говорил с ним на равных, требуя больше серебра. Стеклообразные, застывшие в вечном удивлении глаза смотрели в никуда. В глазах же самого Гамилькара не было ни злорадства, ни кровожадности, лишь спокойная уверенность в правоте. Тактика Гамилькара была «разделяй и властвуй». Одних подкупали мечтами о богатстве, других сталкивали лбами, сея старую вражду, третьих уничтожали с такой безжалостной, молниеносной жестокостью, чтобы слух о возмездии обгонял саму новость о неповиновении. В этих мелких, грязных, негероических стычках рождалось и крепло понимание войны, которое Ганнибал пронесет с собой всю жизнь: хитрость, расчет, терпение, умение купить там, где нельзя победить, и уничтожить там, где нельзя купить.

В это время боги Карфагена шептались друг с другом: «...Они ушли из святилища, унося с собой печать нашей воли. Мы, древние духи Карфагена, наблюдали. Для нас время течет иначе, годы – как волны, накатывающие на берег, каждая приносит и уносит песчинки судьбы. Карфаген, этот шумный, душный город, остался позади. Корабль, что привел отца и сына в Испанию, плыл по нашей воле; мы наполнили его паруса упругим, неумолимым ветром, что дул строго на запад, прочь от старого города. К той земле, что станет сыну с нашей печатью накопальной, горном и кузницею. Испания встретит их суровой, мощью и поможет Ганнибалу закалить характер. Мы видели, что его первым учителем стал старый нумидиец по имени Завар. Меч в руках Ганнибала был сначала непослушным, мозолящим ладони обрубок дерева, потом стал сталью. Мы видели, как Ганнибал падал на раскаленный от солнца грунт, заливаясь потом, пылью, прилипающей к коже. Видели, как кровь сочилась из сбитых суставов и разбитых губ. Видели, как в его глазах вспыхивала яростная молния. Снова и снова, и мы довольны увиденным...».

Гамилькар, поглощенный бесконечными войнами с непокорными иберийскими племенами и укреплением своей власти, появлялся на тренировки сына редко. Но его приход был для Ганнибала всегда приятным событием. Гамилькар всегда стоял молча, его взгляд, тяжелый и пронзительный, был для сына страшнее криков Завара. Однажды, увидев, как Ганнибал, едва отбив атаку трех старших воинов, на мгновение опустил щит, чтобы вытереть пот со лба, Гамилькар молча подошел, выхватил меч у одного из бойцов и нанес яростный рубящий удар. Ганнибал инстинктивно подставил щит. Глухой удар, словно колокол, прокатился по плацу.

Мальчика отбросило на землю, щит треснул. «Враг не даст тебе передышки, чтобы убрать соль с глаз», – говорил Гамилькар ледяным тоном, бросая меч владельцу. «Слепота в бою сейчас, вечная слепота потом». Гамилькар ушел, не оглядываясь, а Ганнибал лежал, сжимая распухшее запястье, и в его глазах горело холодное, обжигающее понимание, урок был усвоен.

Но одного умения рубить и колоть было мало. Ум, стратегия, видение – вот что отличает полководца от солдата-рекрута. Гамилькар призвал к себе двух новых наставников. Первый, старый грек по имени Ментор, выдавший рассвет и закат великих империй. Он расстилал перед Ганнибалом огромный, испещренный знаками свиток. Вот Апеннинский сапог, вот Альпы, он учил Ганнибала географии, показывая все секреты и способы преодоления препятствий. Учил истории, про Ксеркса, чья армада уперлась в узкий проход. Ганнибал глотал эти знания, ночи напролет он проводил над восковыми табличками, углем на керамических черепках, выстраивая и перестраивая диспозиции, мысленно ведя легионы через перевалы, закладывая основы тактики, которой суждено было потрясти мир.

Вторым учителем был тучный карфагенянин по имени Абдмолоч, чья тога всегда пахла кожей, пергаментом и монетным металлом. Тот учил, что война – это продолжение торговли иными средствами, а наемник, которому задерживают плату, ищет нового хозяина. Армия – это не только мечи, еще это мука, вино, соль, упряжные волы, подковы, корабельные канаты. Самая громкая победа может быть сведена на нет одним пустым амбаром. Он учил искусству логистики, предвидеть, просчитывать, растягивать. Ганнибал, привыкший к суровой, почти аскетичной простоте военного лагеря, с изумлением открывал для себя, что битву можно выиграть, даже не вступая в нее, перекупив вождя соседнего племени, организовав диверсию в тылу врага или уничтожив всего один ключевой обоз с продовольствием.

Годы текли, как воды под знойным испанским солнцем, то медленно и плавно, то внезапно, бурными потоками. Юноша становился мужем. Его тело, закаленное в бесчисленных схватках и в беге по окрестным холмам, было сильным, жилистым, лишенным лишнего жира. Его ум, отточенный уроками Ментора и Абдмолоха, стал гибким, как клинок, и острым, как игла. Он учился говорить на иберийских наречиях, понимать гордый и независимый нрав местных племен. Он сидел с их старейшинами, пил с ними густое пиво, слушал их песни, тем самым завоевывая союзников.

Ганнибал был невысок, крепко сложен, сбитый, с невероятной концентрацией силы в каждом сухожилии. Широкие плечи, грудь, подобная кузнечным мехам, короткие, мощные ноги, привыкшие к любым трудностям. Кожа смуглая, оливкового цвета. Глаза казались неестественно яркими. Распахнутые, огромные, темно-карие, почти черные. Но это была не бархатная тьма – это была чернота раскаленного железа, тлеющего угля. Взгляд его был гипнотически острым и всевидящим. В этих глазах жила фанатичная, нечеловеческая решимость. Они горели лихорадочным огнем и излучали непоколебимую уверенность в своей звезде. Это был взгляд, от которого холодела кровь даже у закаленных ветеранов. Нос крючковатый, с выраженной горбинкой, который римляне будут с ненавистью копировать на карикатурах. Ноздри обычно раздуты, как у разъяренного быка. Брови густые, черные, сросшиеся на переносице, что придавало его взгляду постоянное выражение сосредоточенной, почти яростной мысли. Губы тонкие, сжатые в бескровную нить. Они не улыбались. Они могли лишь изредка кривиться в усмешке, больше похожей на оскал, обнажая крепкие, стиснутые зубы. Волосы и борода черные, как смоль, жесткие. Его знаменитая борода – предмет ухода и гордости карфагенского аристократа. Она придавала его лицу дикий, почти первобытный вид, вид пророка или безумца, пришедшего с края света. Его руки короткие, сильные, с грубыми пальцами воина.

Племя олькадов, чьи земли лежали к северу и формально подчинявшиеся Карфагену, взбунтовалось. Их вождь, молодой и честолюбивый, поверил сладким речам римских эмисса-

ров, сулившим золото и независимость. Их главный город, Альталия, был крепок и стоял на высоком скалистом холме; его стены были сложены из массивных каменных блоков, а единственные ворота защищала мощная башня. Гамилькар, связанный жестоким противостоятелем с другим племенем, вызвал к себе сына и приказал покорить непокорный город. Ганнибал отобрал пятьсот человек; ядро составили ветераны-ливийцы, к ним он добавил горстку неутомимых нумидийских всадников и отряд иберийских пращников с гор, чьи свинцовые пули сбивали птицу на лету. Он обошел ряды, называя многих по именам, проверяя сбрую, щупая наконечники копий, встряхивая мехи с водой. Он говорил с ними коротко, ясно, без пафоса, но с уважением, которого заслуживали воины. Поход к Альталии был стремительным маршброском через холмы, поросшие дубами. Город, и вправду, выглядел неприступным. Высокие стены, единственные ворота, над которыми виднелись зазубренные силуэты защитников. Вождь олькадов, наслышанный о молодости противника, выслал гонца с насмешливым предложением: «Уходи, щенок Барки, пока не отрубили твой юный хвост. Наши стены не по зубам молочным псам». Ганнибал прочел послание, свернул его и бросил в костер. Он не ответил и вместо этого три дня потратил на тщательнейшую разведку. Он объехал город, изучая его, выискивая сильные и слабые стороны. И он нашел его ахиллесову пяту. Северная стена была чуть ниже других, потому что скала в том месте была почти отвесной, и защитники полагались на неприступность природы. Но природа, как знал Ганнибал, – союзник того, кто умеет читать ее знаки. Он заметил трещины в скале, цепкие кустарники, узкий карниз, невидимый снизу.

Последний луч солнца угас за зубчатым гребнем западных холмов, и над Альталией медленно, неотвратно опустилась вместе с ночью некое подобие глухого, бархатного савана. Луна, верная служительница богини Танит, на сей раз отвернула свой лик, укрывшись за сплошной, низко нависшей пеленой туч. Темнота была такая, что казалось, стирала границы между небом и землей, между скалой и пропастью, превращая мир в единую, слепую, безвоздушную субстанцию. Лишь редкие огоньки на стенах крепости, да далекий, холодный блеск одиноких звезд на временно разорвавшемся небесном полотне, указывали на то, что жизнь еще теплится в этом каменном гнезде.

Для Ганнибала, чье тело, слившись с холодным камнем утеса, уже час не двигалось, эта тьма была союзником. Он лежал на небольшом, скрытом от посторонних глаз карнизе, в двухстах шагах от подножия восточной стены Альталии. За три дня до этого Ганнибал начал осуществление своего плана. Мелкие отряды карфагенян, преимущественно нумидийская конница, начали демонстративно тревожить окрестности Альталии, перехватывать обозы, нападать на мелкие группы дровосеков без реальной попытки штурма. Целью было показать свое присутствие, раздражать, вынудить защитников постоянно быть начеку, изматывая их нервы. Одновременно, лазутчики, говорившие на наречии олькадов, просачивались в соседние селения, распуская слухи о неопытности молодого Ганнибала, о его нерешительности, о том, что он боится штурмовать такие стены. Слухи доходили до вождя олькадов, укрепляя его в уверенности, что этот «щенок Барки» лишь бряцает оружием, не решаясь на настоящую битву. Теперь, в эту ночь, основные силы Ганнибала, числом около четырёхсот человек, были разделены на две части. Ливийская пехота в своих синих плащах и бронзовых шлемах, иберийские наемники в кожаных доспехах и горстка нумидийцев, оставив коней, заняла позиции в кустарнике у подножия западного подъема к крепости. Им была отведена роль громадного, шумного, отвлекающего колокола. Ровно в тот момент, когда ночь достигла своей максимальной, предрассветной густоты, когда смена караула на стенах только что прошла и новые часовые еще не вошли в ритм, а старые уже мечтали о сне, по сигналу, короткой вспышке факела из долины, этот колокол обрушился на ворота. Это была инсценировка. Десятки факелов внезапно вспыхнули в темноте. Все наполнилось оглушительным грохотом, воины били мечами и секирами о щиты, сотрясая медные умбоны и деревянные доски, этот лязг был призван имитировать звук готовящихся таранов и лестниц. Сотни глоток издавали нечленораздельные,

звериные крики на десятке наречий. В сторону стен полетели камни из пращей, для создания иллюзии начала интенсивного обстрела. Эффект превзошел ожидания. Со стен крепости донеслись сперва растерянные выкрики, затем тревожные свистки рожков, и, наконец, яростные команды. В бойницах замелькали десятки силуэтов, на опасный участок, к главным, массивным дубовым воротам, уставленным дополнительными завалами из камней и заостренных кольев, бросились лучшие лучники и копейщики олькадов. Они видели перед собой яростного, но неорганизованного противника, безумно штурмующего самые сильные их укрепления.

А в это время, в абсолютной, гробовой тишине на противоположной, восточной стороне крепости, начиналось главное действие. Сто человек стояли у подножия отвесной скалы. Все они были иберийцами, детьми суровых гор. Их лица и руки были до единого миллиметра зачернены смесью густой сажи и бараньего жира, дабы не выдать ни бликом потного глаза, ни бледностью кожи. На них были только короткие, не стесняющие движения штаны из грубой ткани и легкие кожаные сандалии с разрезанной подошвой для лучшего сцепления. В зубах каждый сжимал короткий, отточенный до бритвенной остроты иберийский кинжал – фалькату, с изогнутым лезвием, идеальным для быстрого и тихого убийства. Руки должны были оставаться абсолютно свободными. Ведущим этой горстки был сам Ганнибал. Он скинул свой офицерский панцирь и был одет также, как остальная группа. Цепляясь за малейшие выступы, чувствуя холод ночного камня под пальцами, они, как одна тень, поползли вверх. Движения их были медленными, плавными, почти змеиными, каждый мускул был напряжен до предела, каждый палец впивался в камень с силой, достаточной для удержания не только тела, но и жизни. Пальцы, привыкшие к грубой работе, считывали малейшие неровности, тонкую трещину, крошечный выступ, цепкий кустик колючего горного кустарника, проросший в расщелине. Ноги, упираясь в едва заметные уступы, несли основную тяжесть, оставляя рукам работу по балансу и поиску следующей точки опоры. Случайный шум, сорвавшийся и покотившийся вниз с сухим стуком камешек, мог стать роковым. Но, казалось, сами карфагенские боги благословили эту вылазку, направляя их цепкие пальцы, приглушая любой звук, делая их ступни невесомыми. Баал-Хаммон, суровый владыка небес, даровал их мускулам стальную, нечеловеческую выносливость, не позволяя им дрогнуть и ослабеть в самый критический момент. А Мелькарт, покровитель мореплавателей и первооткрывателей, указывал путь в этой кромешной тьме, будто освещая перед Ганнибалом незримую тропу.

Минуты растягивались в часы. Каждое его движение, каждый выбор пути тут же повторялись следующими за ним людьми. Никто не проронил ни слова, ни стона, общение происходило через легчайшее касание ноги, едва слышный щелчок языком, переданный с вершины вниз, как по эстафете.

И вот, пальцы Ганнибала наткнулись на ровную, шероховатую поверхность зубца, он достиг гребня. Один за другим, на узкую площадку шириной около трех футов за парашютом поднялись он и первые пятеро его воинов. Они замерли, прилипнув к камню, прислушиваясь. До них доносились лишь приглушенные отзвуки яростной битвы у главных ворот и мерное, прерывистое дыхание двух стражников у небольшого, тлеющего костерка в двадцати шагах справа. Они были беспечны, уверенные в неприступности своей позиции, все их внимание было приковано к далекому, но громкому звуку у западной стены. Тогда, не тратя ни секунды, Ганнибал подал едва заметный знак рукой. Один из воинов, забравшийся с небольшим, тщательно укрытым под плащом факелом и горшком с сухим, легко воспламеняющимся мхом, бесшумно подполз к костру. Через мгновение над спящим городом, над его плоскими глинобитными крышами и узкими, извилистыми улочками, взметнулось яростное пламя. Воин описал в воздухе три широкие, размашистые дуги – это был сигнал, видимый из глубины долины для резервных отрядов Ганнибала, ждавших своей очереди. Затем последовал короткий, kloчущий хрип, вырывающийся из перерезанного одним точным движением фалькаты горла, хлюпающий, мокрый удар узкого клинка, входящего под ребра и повреждающего сердце, глу-

хой, обреченный стон, тут же придушенный ладонью, накрывающей рот жертвы. Тени отделились от парапета и поползли вдоль стены в обе стороны, как пауки. Охрана, застигнутая врасплох, не успела понять, что происходит. Они были перебиты за несколько десятков ударов сердца, так и не увидев лиц своих убийц. Смерть пришла к ним тихо и эффективно, как серп жнеца, срезающий колосья. Теперь путь внутрь был открыт. Не теряя темпа, группа Ганнибала, уже пополненная поднявшимися остальными бойцами, устремилась по узкой, вырубленной в толще стены лестнице, ведущей к внутренней стороне главных ворот. Паника среди защитников, все еще оборонявших ворота снаружи, началась, когда они услышали крики и звуки короткой, жестокой схватки у себя за спиной. Не понимая, что происходит, думая, что город уже взят изнутри предателями или что на них напал неведомый доселе враг, они дрогнули. Их строй нарушился, воины оглядывались назад, в темноту города, теряя внимание. А в следующее мгновение с оглушительным лязгом, который был слышен даже поверх общего гама, массивные деревянные засовы, державшие главные ворота, с грохотом отшатнулись изнутри. Гигантские створы, сдавленные напором десятков тел снаружи, с скрипом распахнулись. И тут беспорядочная толпа карфагенян, что еще минуту назад нестройно орала и бряцала оружием, вдруг обрела строй и железную дисциплину. Строем, со щитами, сомкнутыми в единую, непробиваемую стену наподобие эллинистической фаланги, и длинными сариссами, направленными вперед, как иглы дикобраза, они ворвались в распахнутый проем. Ложный штурм превратился в самый настоящий, сокрушительный и неудержимый таран. В городе начался ад, ошеломленные и дезориентированные защитники пытались оказать сопротивление на узких улочках, но карфагеняне, ведомые яростью, не ввязывались в затяжные стычки. Они методично, шаг за шагом, выдавливали их к центральной площади, используя свое превосходство. Пехота, действуя в сомкнутом строю, опрокидывала разрозненные группы врагов, в то время как иберийские наемники, более легкие и подвижные, просачивались через дворы и переулки, заходя обороняющимся в тыл, сея панику и смятение.

Жители города, пробужденные кошмарным грохотом, криками и нарастающим лязгом оружия, в ужасе запирались в домах, но некоторые, охваченные отчаянием или яростью, бросались на захватчиков с тем, что было под рукой, – с кухонными ножами, серпами, дубинами. Город погрузился в хаос, где смешались боевые кличи, предсмертные хрипы, плач женщин и детей, треск пожираемых огнем хижин и гулкое эхо от ударов о щиты. К утру, когда первые багровые лучи солнца, словно стыдясь, пробились сквозь плотную завесу дыма и гари, над каменной цитаделью Альталии, в клубах едкой пыли и пепла, реяло багровое знамя Баркидов, голова африканского слона на алом поле.

Ганнибал стоял на центральной площади, его простая, лишенная украшений бронзовая кираса была покрыта вмятинами от случайных ударов, забрызгана грязью и бурыми, запекшимися пятнами, каждое из которых было молчаливой повестью о минувшей ночи. Правая рука, все еще инстинктивно сжимавшая эфес его иберийского меча, мелко и часто дрожала от колоссального нервного напряжения, от адреналина. Перед ним, на коленях в пыли, смешанной с кровью его воинов и соплеменников, стоял вождь олькадов. Его богатые, расшитые одежды были порваны, дорогие браслеты содраны с запястий, лицо залито грязью и слезами ужаса, и лишь животный, первобытный страх. Воины Ганнибала – суровые ливийцы в своих походных плащах, дикие иберы с татуированными лицами, испачканные сажей и кровью, стояли вокруг, окружив площадь плотным, непреодолимым кольцом. И в их взглядах, устремленных на своего командира, было ожидание. Ганнибал медленно, с усилием, перевел взгляд с окружающих его лиц на побежденного вождя и подарил ему жизнь. На площади воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием догоравших где-то на окраине построек. Вождь олькадов медленно, не веря, поднял голову.

Он не казнил вождя, не предал его мучительной смерти на потеху войску, не сравнял Альталию с землей, вместо этого превратил и город, и его поверженного правителя в своего

раба, в вестника, чья история, подробностями, поползет по тавернам, стойбищам и советам старейшин всей Иберии. Отныне легенда о Ганнибале, берущем неприступные крепости силой ума, отваги и безжалостной воли, будет работать на него сама. Она будет сеять страх в сердцах его врагов еще до того, как его армия появится на их границах, и заставляя задуматься тех, кто еще не определился. Он не просто победил олькадов, а начал создавать миф о себе, который в конечном счете страшнее и сильнее любого его войска.

Когда гонец примчался к Гамилькару с вестью о быстром и сокрушительном падении Альталии, старый лев слушал молча, его лицо оставалось непроницаемым. Но когда гонец ушел, Гамилькар долго смотрел в сторону, где лежали земли олькадов, и в уголках его глаз залегла улыбка. В тени испанских дубов, омытый кровью своих врагов, Ганнибал, сын Гамилькара, больше не был тем сыном, что просто дал клятву, он начинал движение к её осуществлению. И где-то далеко, в Эфире, римские боги почувствовали смутную тревогу. Легкий, холодный ветерок, долетевший с запада, пах дымом, кровью и железом.

228 год до нашей эры. Иберийское солнце, даже зимнее, всё ещё хранило остатки былого зноя, но в предгорьях, где раскинулись владения воинственного племени ориссов, уже всюсю хозяйничал пронизывающий ветер. Для Гамилькара Барки этот год должен был стать очередной ступенью к своей цели. Для него Иберия была плацдармом, источником серебра и людских ресурсов, фундаментом для будущей войны с Римом, войны, которая должна была смыть позор поражения и восстановить величие Карфагена. Одной из ключевых точек был город Гелика, богатый и хорошо укрепленный оплот враждебного племени. Его падение должно было не только открыть дорогу на север, но и продемонстрировать всем иберийским племенам несокрушимость карфагенской мощи. Подойдя к Гелике, Гамилькар разбил осадный лагерь и приступил к осаде.

Гамилькар, помня горький опыт Сицилии, где карфагеняне часто увязали в долгих осадах, действовал стремительно. Его инженеры возвели мощные осадные башни, с которых лучники и пращники подавляли защитников на стенах. Таран, обшитый сырыми воловьими шкурами для защиты от огня, день за днём долбил каменную кладку главных ворот. Подкопы, которые вели сапёры, угрожали обрушить целые участки укреплений. Положение осаждённых стало быстро ухудшаться. Запасы продовольствия таяли, моральный дух гарнизона падал с каждой новой брешью в стене. Но уверенность в скорой победе ослепила даже такого осторожного полководца, как Гамилькар. Он видел, что основные силы противника в регионе разбиты или рассеяны, а гарнизон Гелики не решается на вылазку. Он понимал, что содержание огромной армии в поле зимой ложилось тяжёлым бременем на казну. Именно тогда он принял решение, которое затем назовут его величайшей тактической ошибкой. Считая, что с главными силами противника покончено и падение города – вопрос нескольких недель, Гамилькар отослал основную часть своей армии, включая элитные подразделения ливийской пехоты и всю грозную ударную силу боевых слонов, на зимние квартиры в Акра Левке. Это был хорошо укрепленный порт, сердце карфагенских владений в Иберии. При Гелике остался лишь небольшой, но опытный осадный отряд, несколько тысяч испанских наёмников, нумидийская конница, значительно урезанная в численности, и личная гвардия Гамилькара. Это была роковая недооценка противника и переоценка собственной безопасности. Этим стратегическим просчётом мгновенно воспользовался вождь племени ориссов. До этого момента ориссы сохраняли шаткий нейтралитет, а их вождь даже заключал союзнические договоры с Карфагеном, опасаясь мощи Гамилькара. Однако видя, что «Молния» осталась с малыми силами, он понял, что настал его звёздный час. Уничтожение прославленного полководца сулило не только военную добычу, но и невиданный рост авторитета среди всех племен Иберии. Это был шанс сбросить карфагенское иго и стать новым региональным лидером. Их предводитель собрал большое

войско – десять тысяч человек, включая свою личную дружину, лучших бойцов из подконтрольных селений и лёгкую конницу.

С этим войском вождь ориссов скрытно выступил в поход. Он двигался по горным тропам, избегая открытой местности, где могла бы проявиться выучка карфагенян. Его разведчики тщательно отслеживали расположение лагеря Гамилькара, выискивая слабые места. На рассвете одного из холодных дней конца зимы 228 года до н.э., когда в карфагенском лагере только начинали просыпаться, и дозорные, уставшие от долгой ночи, теряли бдительность, ориссы нанесли удар. Они обрушились на лагерь с нескольких направлений одновременно, создав видимость полного окружения. Их воины, не обремененные тяжелыми доспехами, действовали стремительно и яростно. Первой приняла на себя удар нумидийская конница, несшая сторожевую службу на подступах к лагерю. Застигнутые врасплох, нумидийцы попытались завязать конный бой, но легкие всадники ориссов, отлично знавшие местность, осыпали их дротиками и отступали, заманивая под удар своей пехоты. Вскоре бой перенесся на самую окраину лагеря. В лагере началась паника. Воины, не успевшие надеть доспехи, хватались за оружие и беспорядочно бежали навстречу врагу. Отсутствие единого сильного командования в первые минуты боя усугубило хаос. Гамилькар, находившийся в своей палатке, услышав шум боя, мгновенно оценил катастрофичность ситуации. Он понял, что его силы не просто атакованы, они атакованы превосходящим и готовым к бою противником, имеющим инициативу. Но Гамилькар не был бы великим полководцем, если бы поддался панике. Удержать лагерь было невозможно, его растянутые и застигнутые врасплох силы были бы быстро уничтожены по частям. Единственным шансом на спасение был прорыв и организованное отступление в сторону Акр Левке. Он отдал четкие и короткие приказы. Его личная гвардия и офицеры, рискуя жизнью, начали спешно организовывать оборону. Карфагеняне и их союзники, услышав команды, начали приходить в себя. Они сбивались в небольшие, но сплоченные группы, прикрываясь большими щитами и отступая к южной окраине лагеря, где путь к отступлению был пока свободен. Гамилькар приказал бросать все – осадные орудия, тяжелый багаж, палатки. Нумидийская конница, ценой больших потерь, прикрывала фланги отступающей пехоты, сдерживая натиск вражеских всадников. Отступление постепенно приобретало организованный характер, но цена была высока, аррьергард, состоявший из самых стойких бойцов, нес чудовищные потери, сдерживая яростный натиск ориссов, которые чувствовали кровь и близость победы. И единственный путь к спасению лежал через быструю и полноводную в это время года реку. Зимние дожди и таяние снегов в горах превратили ее в бурный, мутный поток с коварным илистым дном и подмытыми глинистыми берегами. Первыми в воду вступили нумидийские всадники. Их легкие кони, привыкшие к подобным переправам, относительно уверенно преодолели течение и закрепились на противоположном берегу, готовые прикрыть пехоту. Затем в воду начала вступать карфагенская пехота. Бурное течение сбивало воинов с ног, тяжелые доспехи и оружие тянули на дно. Илистое дно засасывало ноги, замедляя и без того трудное движение. В этот самый критический момент основная масса воинов ориссов настигла отступающих. С высокого берега они осыпали карфагенян, застрявших в воде, градом дротиков, стрел и камней. Река превратилась в смертельную ловушку. Вода окрасилась в красный цвет. Крики команд тонули в реве потока и воинственных кликах противника. Именно в этот момент Гамилькар, руководивший переправой с еще удерживаемого карфагенянами участка берега, увидел смертельную угрозу. Группа самых яростных воинов ориссов, прорвавшись сквозь слабейший заслон аррьергарда, устремилась прямо к тому месту, где под защитой небольшого отряда телохранителей находились его сыновья Ганнибал и Гасдрубал. Их гибель означала бы крах всего, ради чего он жил. Не раздумывая ни секунды, Гамилькар превратился из полководца в отца.

С криком, призывающим к атаке, он вскочил на своего берберского скакуна и во главе своего последнего резерва, нескольких десятков ветеранов своей гвардии, ринулся в контр-

атаку. Его яростный удар был настолько внезапен и мощен, что прорвавшиеся воины ориссов были на мгновение отброшены и смяты. Эта короткая, но ожесточенная схватка на берегу создала критически важную передышку. Пользуясь ею, верные офицеры и телохранители схватили Ганнибала и Гасдрубала, посадили на коней и буквально протолкнули в воду, заставив плыть к другому берегу, где их уже ждали нумидийцы. Сыновья были спасены. Но сам Гамилькар и его гвардия, прикрывавшие отход, оказались в смертельной ловушке, они остались последними на берегу, который теперь полностью контролировали воины ориссов. Под градом стрел, теснимые со всех сторон, они были вынуждены отступать в воду. Именно здесь, на мелководье, и произошла последняя трагедия. Боевой конь Гамилькара, могучий берберский скакун, был ранен в шею дротиком и поскользнулся на скользком, илистом дне. С громким хрипом животное рухнуло в воду, сбрасывая седока. Гамилькар, облаченный в позолоченный панцирь и тяжелый боевой плащ, упал в бурный поток. Удар о воду был сильным. Намокший за считанные секунды плащ обвился вокруг его тела, как саван, а тяжелый панцирь неумолимо потянул его ко дну. Он был еще полон сил и боролся, пытаясь освободиться от сковывавших его доспехов, но течение было слишком сильным, а дно слишком коварным. Несколько его верных телохранителей, сами едва держась на плаву, видели, как его шлем с пышным султаном скрылся под мутной водой. Они бросились к тому месту, отчаянно цепляясь за Гамилькара, пытаясь вытащить из стихии, но мощный поток разорвал их хватку. Один миг и его не стало. Не было героического последнего удара, не было прощальных слов, обращенных к сыновьям. Была лишь грязная, холодная вода, поглотившая одного из величайших полководцев эпохи. Его тело так и не нашли. Быстрая река унесла его прочь, в неизвестность, словно сама земля Иберии, которую он стремился покорить, не пожелала отдать его останки даже для погребения. Весть о гибели Гамилькара молнией облетела Иберию. Для карфагенян это был сокрушительный удар. Они потеряли не просто военачальника и своего лидера. Но были и те, кто воспринял гибель Гамилькара с злорадством, например, аристократические кланы, которые всегда завидовали возвышению Баркидов. Для юных Ганнибала и Гасдрубала, достигших безопасного берега и узнавших о судьбе отца, этот день стал рубежом. Их юность, смытая водами той самой реки, закончилась. Они видели, как их отец пожертвовал собой ради их спасения.

Войско, еще вчера бывшее сплоченным, заколебалось. В глазах ветеранов-ливийцев читалась растерянность. Наемники-иберы, чья верность покупалась славой и золотом Гамилькара, начали поглядывать по сторонам. Вожди покоренных племен, до последнего вздоха боявшиеся Молнии, теперь отправляли друг другу тайных гонцов, и вокруг запахло мятежом. Держава, выстроенная на воле одного человека, грозила рассыпаться в прах, как песочный замок, подмытый приливом.

Именно в этот час на сцену истории шагнул зять Гамилькара – Гасдрубал Красивый. Он носил такое же имя, как и родной сын Гамилькара. Гасдрубал Красивый взял бразды правления в свои руки. Следующие недели стали временем тяжелейшего испытания для Баркидов. Гасдрубал Красивый взял на себя всю организационную работу. Он вел переговоры с нервными поставщиками, улаживал споры между командирами, составлял отчеты для Карфагена, где смерть Гамилькара преподносилась как героическая гибель в бою, дабы сохранить лицо и не показывать слабинку. Ганнибал же продолжил участвовать в битвах, в ходе которых жестоко отомстил за отца, но на этом не остановился. Одно из племен в верхнем течении Бетиса, узнав о гибели Гамилькара, перебило карфагенский гарнизон и объявило о своей независимости. Не дожидаясь приказов из Карфагена, не советуясь ни с кем, кроме Гасдрубала Красивого, Ганнибал собрал верные ему части и выступил в поход. Он двигался с нечеловеческой скоростью, появившись под стенами мятежного города раньше, чем туда успели дойти вести о его выступлении. Штурм был коротким, яростным и тотальным. Ганнибал сражался как зверь, и потом как палач, выполнил свою работу. Его атака была безжалостной, город был взят, его защитники перебиты до последнего человека. Город был стерт до основания, а землю посыпали солью в

назидание другим. Он не взял пленных, не взял добычи, а взял только голову вождя мятежников и отправил ее вождям соседних племен с одним единственным посланием: «Молния мертва. Но гром еще грохочет».

Гасдрубал Красивый стал мостом между необузданной силой Ганнибала и сложным миром политики. По ночам в покоях, которые раньше принадлежали Гамилькару, они просиживали над картами и отчетами. Гасдрубал Красивый уговорил Ганнибала не казнить пленных из следующих мятежных племен, а обращать их в рабов и отправлять в серебряные рудники, чья добыча была финансовым стержнем их власти. Он организовал несколько показательных судебных процессов над восставшими вождями, где, восседая на троне, вершил правосудие, одного казнил, другому прощал, третьего облагал данью, демонстрируя не только жестокость, но и рассудительность. Гасдрубал Красивый говорил Ганнибалу, что власть – это спектакль, где нужно играть разные роли. Он же стал тем, кто наладил отношения с Карфагеном. Пока Ганнибал усмирлял Иберию железом, Гасдрубал Красивый засылал в метрополию гонцов с богатыми дарами и искусно составленными докладами. Он рисовал картину блестящего положения дел, растущих доходов и непоколебимой верности армии, возглавляемой теперь достойным сыном великого Гамилькара. Он гасил интриги и подкупал нужных людей, создавая в Совете партию сторонников Баркидов. Гасдрубал и Магон Баркиды, сыновья Гамилькара, также участвовали в общем деле, командовали гарнизонами в ключевых крепостях, возглавляли карательные экспедиции против разбойников, ставших смелее после смерти Гамилькара.

Шло время, держава Баркидов устояла и окрепла. Ганнибал больше не вел долгих бесед с греческими философами. Вместо этого он часами мог сидеть в одиночестве, глядя на огромную карту, подаренную ему когда-то отцом. Его взгляд всегда скользил на восток, через синее пятно Внутреннего моря, к Итальянскому полуострову, где стоял Рим. Клятва, данная в дыму и крови, не умерла вместе с Гамилькараром, а становилась только крепче и подталкивала его вперед.

В день смерти Гамилькара в святилище Баала-Хаммона в Карфагене, где негасимое пламя, питаемое жиром жертвенных животных, горело столетиями, огонь внезапно спал, съезжился, превратившись в синеватый огонек, и все вокруг наполнилось запахом гари и испарений. Верховный жрец замер с золотым кувшином для возлияний в руках, его пальцы окоченели. Он почувствовал, что могучий дух бога дрогнул.

Баал-Хаммон почувствовал смерть первым. Его сознание, простиравшееся над всеми землями, где ему воздавались почести, было сейчас приковано к Испании, к его новому, самому многообещающему плацдарму. Гамилькар был для него великолепным орудием. Ярким, жарким факелом, который он сам зажег и держал в своей руке чтобы поджечь весь мир от Геркулесовых столпов до стен далекого, ненавистного города на Тибре. И вот этот факел был погашен мутной, холодной водой ничтожной речушки.

– Нелепость, – проревел его дух, и его ярость, не находя выхода в материальном мире, выплеснулась в испанское небо, ясное за миг до того. Без всякой тучи, с чистого небосвода, в холмы вокруг того рокового места ударили сухие, яростные молнии, выжигая траву и раскалывая скалы, не пролив ни капли живительной влаги. – Он был молнией в моей руке, моим перстом, указующим путь, а его погасила лужа, грязь.

Рядом с ним отозвалась Танит, лик Луны, владычица жизни, судьбы и всего, что растет и умирает в свой срок. Её внимание, в отличие от приступообразного гнева супруга, было подобно свету ночного светила, рассеянному, но проникающему повсюду. Она смотрела на те нити, что от неё тянулись, на те почки, что готовы были распуститься на этом древе. Её тонкие, невесомые пальцы, вечно плетущие полотно судеб из света и тьмы, коснулись одной, самой прочной и зловещей из них – нити Ганнибала.

– Успокой свой гнев, владыка, ты смотришь на пепел, но не чувствуешь жар, что скрывается под ним. Не факел угас, а искра перелетела. И упала она не на сырую землю, а на солому, что мы сами годами подготавливали, на сухую, гордую, пропитанную одной лишь мыслью. Ты чувствуешь это горение? Оно иное, глухое, бездымное, но способное прожечь сталь. Это горение дольше и страшнее. Сын будет гореть куда могущественнее, и ярче.

Из самой глубины, от древних оснований карфагенских храмов, из портовой суеты и запаха смолы и сетей, поднялся дух Мелькарта, хозяина Тира, покровителя мореплавателей. Его гнев был ледяным, Гамилькар был для него якорем, тяжелым, надежным якорем, который удерживал корабль карфагенского могущества в бурных водах Испании, не давая ему разбиться о скалы местного своеволия.

– Он был нашей опорой в мире железа и плоти, он ковал нам царство. Его рудники были нашими жилами, серебро нашей кровью, его армия нашей рукой, сжимающей меч. Смерть якоря не означает гибель корабля, но делает его игрушкой волн. Наемники заропщут, почуввав нестабильность платы. Местные цари, дрожавшие от одного его имени, поднимут головы. А Рим, там тоже уже чуют. Их лазутчики, как крысы, уже бегут по трюмам нашего корабля, выискивая течь. Гамилькар ушел слишком рано.

– Пусть ропщут, – прошипел голос Танит, – пусть бунтуют варвары, пусть римляне по глупости своей тоже пока ликуют. Они не понимают, что играют в нашу пользу. Молния мертва. Да здравствует Гром! Я вложила в его душу отравленную стрелу много лет назад, в том дымном святилище. Теперь, когда лук его души натянут горем до предела, пришло время выпустить её. Его скорбь будет кровавой.

Карфагенские боги замерли в состоянии напряжённого, сосредоточенного ожидания. Гамилькар умер слишком рано, и это нарушило их планы, но надежда ещё не угасла.

В светлом, пропитанном запахом амброзии, нектара и мраморной пыли эфире, новость была принята с облегчением. Юпитер, восседающий на троне, почувствовал это как внезапное ослабление тисков. Давление, которое он годами ощущал с запада, упругое, настойчивое, присутствие других могущественных богов у его порога, теперь вдруг исчезло.

– Барка, – произнес Юпитер, – Гамилькар Барка мертв. Молния погасла, не долетев до наших стен, эта угроза миновала раньше назначенного срока, и у нас появился шанс отвести беду.

Рядом с ним Юнона встала с трона. – Не настраивай свою лиру для победного гимна слишком рано, супруг. Я смотрела на этого человека пристально. Он был грозой, да, но грозой предсказуемой. Сейчас я чувствую исходящий от сына еще больший жар, чем от отца. Это жар лесного пожара, готового спалить все вокруг, лишь бы добраться до наших священных рощ. Гамилькар хотел победить Рим, чтобы возвеличить Карфаген. Ганнибал, я чую это в каждом биении его сердца, хочет уничтожить Рим, потому что ему приказывают карфагенские боги, с которыми он заключил соглашение. А с чужой религией и богами, как ты знаешь, договориться невозможно.

Марс, бог войны в сияющих, отливающих кровью доспехах, ухмыльнулся во весь свой беззаботный и жестокий рот. Гибель великого врага была для него всегда радостью.

– Пусть приходит этот щенок, – воскликнул он, сжимая рукоять меча так, что пальцы в бронзовых перчатках закрипели. – Гамилькар был старым, матерым волком, умным, хитрым. С ним было честь сразиться, это был поединок титанов. А его сын молод, яростен, полон неотработанного гнева и юношеского максимализма, но Гамилькар не успел его подготовить. Мои легионы, уставшие от усмирения галльских деревень, будут жаждать такой славы, я уже предвкушаю бойню. Он не сможет их обойти, разве что попробует перейти великие Альпы.

Минерва, богиня мудрости и стратегии, сидела в задумчивой позе, её ясный ум изучал все события. Перед её мысленным взором плавала шахматная доска, где фигуры символизировали легионы, флоты, города и народы.

– Ты прав, Марс, но права и Юнона. Его смерть – это обрушение несущей стены в здании карфагенской власти в Испании. Теперь его сын Ганнибал, этот обожжённый богами юноша, и зять Гасдрубал Красивый, которого не зря зовут умным, будут бороться за обломки власти. Или, что страшнее для нас, объединятся. Один станет головой, а другой – кулаком. Я знаю, что даже Янус Бифронс, чей двуликий образ стоял на самой границе мира и войны, порядка и хаоса, почувствовал этот сдвиг. Одно из его лиц, вечно смотрящее в уходящее прошлое, видело угасшую, но знакомую и потому понятную угрозу. Другое, взирающее в наступающее будущее, видело надвигающуюся тень. Каменные створки врат его храма на Форуме ещё не затворились, знаменуя мир, но уже не были плотно закрыты. Они дрожали, предчувствуя сквозняк грядущей бури. И скоро мы узнаем, обойдет ли нас угроза или ударит со всего размаха карфагенским мечом.

Последующие месяцы стали для обеих пантеонов временем напряженного наблюдения, закулисных интриг и точечных не прямых вмешательств. Карфагенские боги, оправившись от первоначального шока, сосредоточили всю свою волю, всю свою сущность на Ганнибале. Баал-Хаммон более не гневался на нелепость смерти Гамилькара. Он вливал свою негибаемую волю в каждое решение Ганнибала, когда тот с неслыханной жестокостью стирал с лица земли мятежные города олькадов. Дым от этих пожарищ, вонь горелого мяса и расплавленного камня были для него новым, самым благоуханным курением на его алтаре. Безжалостность Ганнибала, его отказ от традиционной дипломатии в пользу тотального устрашения, был прямым отражением безжалостности самого бога.

Танит стала его незримой советчицей, когда Ганнибал, ведомый чистым гневом, колебался между тотальной резней и более изощрённым политическим ходом, её тихий шёпот направлял его. Это она подсказала ему казнить вождя мятежников и послать его голову соседям, превратив казнь в политическое послание. Мелькарт даровал ему скорость, его походы были стремительны, потому что бог-покровитель дорог и мореплавателей убирал преграды с его пути, наводил на мысли о слабых местах в крепостных стенах, о забытых пастухами горных тропах, о бродах, известных лишь старикам. А Баал-Хаммон наслаждался зрелищем. Каждая капля крови, пролитая по приказу Ганнибала, была для него нектаром. Он насылал мор на стада враждебных племен, ослабляя их задолго до подхода карфагенской армии. Он внушал вождям малодушие и парализующий страх, заставляя их сдаваться почти без боя, что лишь укрепляло ауру непобедимости молодого полководца. А бог взирал на Ганнибала с отеческой гордостью.

В Эфире же наблюдали за этим с растущим, холодеющим беспокойством. Они не могли вмешаться из-за отсутствия влияния, так как религия в Испании не поддерживала их, люди не приносили им жертвы и молитвы. Ликование Марса поутихло, сменившись уважением к стремительности, ярости и тактическому гению молодого Баркида. – Смотрите, – восклицал он, наблюдая за очередной молниеносной победой Ганнибала над превосходящими силами. – Он не воюет, как Рим, – правильными построениями, стеной щитов. Он не воюет, как его отец, подавляя числом и волей. Он воюет, как дикий зверь, удар и сразу в горло, обход и удар в спину. Это грязно, это бесчестно, это... как же это прекрасно.

Но Юнона не находила в этом ничего прекрасного. Её материнская любовь к Риму заставляла видеть смертельную угрозу. – Он не просто командует армией, – говорила она Юпитеру, – он не наёмник, которого можно купить, и не вождь, которого можно запугать. Он сплачивает вокруг себя всю дикую, необузданную ярость этого варварского края. Легионы могут разбить армию, центурионы могут сокрушить строй. Но как сокрушить ярость?

Минерва была согласна с ней. Сквозь дым сражений, завесу интриг и туман личных страстей она видела и вторую ключевую фигуру – Гасдрубала Красивого. – Вот где таится корень настоящей опасности, – указывала она, её палец мысленно ткнул в испанские земли, где Гасдрубал Красивый наводил порядок в администрации и слал увещательные письма в Карфаген. Умный, как афинский софист, и гибкий, как змей. Пока Ганнибал сеет ужас, Гасдрубал Красивый сеет зёрна союзов и выгоды. Пока один завоевывает, другой удерживает, они – идеальное сочетание. Нам нужно их растащить, нам нужно, чтобы Карфаген испугался своего же оружия.

Юпитер слушал их и был омрачён тучей раздумий. Он видел, как тень Баркидов, которую он с облегчением посчитал рассеявшейся, сгустилась, стала более целеустремлённой и в сто раз более опасной. Гамилькар был грозным, но понятным противником, и действовал в рамках логики империи, которую можно было понять, предсказать и переиграть. Ганнибал же, ведомый личной мистической клятвой и опьянённый горем, был огнём.

Глава 5. Дар богов.

*И сказала Юнона, отдыхая на облаке в Эфире, своему супругу Юпитеру: «A probis probari, ab improbis improbari aequa laus est»
(Одинаково почетны и похвала достойных людей, и осуждение недостойных.)*

Солнце еще только собиралось коснуться верхушек самых высоких дубов, когда отряд выступил из поместья. Запахи были густыми и прохладными, они ободряли легкие свежестью, ароматами ночной земли, влажного мха и цветущих садов. Для Публия Корнелия Сципиона, четырнадцатилетнего юноши, это была первая настоящая охота в лесах Лация, где он должен был доказать, что кровь Сципионов в его жилах достаточно горяча и он теперь достаточно взрослый. На охоту также был приглашен кузен Назика, который с самого детства подначивал Публия и пользовался тем, что был старше. Публий шел, сжимая в ладони древко охотничьего копья – гаста. Оно было легче армейского, тщательно сбалансировано, с хорошо заточенным наконечником, но для Публия оно все равно казалось грубым и неудобным. Он ловил на себе взгляды рабов-носильщиков и псарей, и ему чудились насмешки и перешептывания: «Смотрите, патриций недоросток, наверняка боится испачкать свою белую тунику и расплатится при виде крови».

К этому времени Публий достаточно сильно вытянулся, как молодой побег кипариса. Рост его был уже заметен, он обогнал многих сверстников. Длинные, тонкие конечности казались непропорциональными, кости запястий и щиколоток выпирали резко под кожей. Плечи, обещавшие в будущем ширину, сейчас были узкими, ключицы проступали хрупкими дугами. Он уже не был мальчиком, но мужская мощь отца еще не наполнила его тело. В его осанке не было ни величавой прямооты отца, ни спокойной устойчивости матери. Он сутулился, словно стесняясь своего внезапного роста, а через мгновение, вспомнив себя, резко распрямлялся, демонстрируя неестественную прямооту. Его лицо сохраняло остатки детской округлости, но кость уже начала решительно проступать сквозь мягкие ткани. Детская пухлость щек почти сошла, обнажив начальную структуру скул, высоких, как у отца и еще более острых. Кожа, в отличие от матовой бледности Помпонии, была с частым и ярким румянцем, заливавшим щеки от любого волнения, усилия или гнева. Тонкая, голубая вена пульсировала у него на виске, когда он был сосредоточен. Нос уже потерял детскую курносость, вытянулся, но горбинка отца была лишь маленьким хрящевым утолщением на переносице. Кончик носа казался чуть великоватым для лица, что придавало ему одновременно и резкость, и юношескую незавершенность. Глаза казались огромными на еще не до конца сформировавшемся лице. Цвет их был таким же, как у матери, но в них не было материнского спокойствия. Они горели жадным, ненасытным огнем любопытства, обидчивой гордости и фанатизма. Его взгляд мог быть дерзко прямым, а через миг словно он прятал тайну. Веки, слегка тяжеловатые, как у отца, придавали этому пылающему взору неожиданную серьезность в моменты покоя. Под глазами, на фоне прозрачной кожи, иногда лежали легкие, синеватые тени, следы бессонных ночей за чтением греческих хроник или лихорадочных мечтаний о подвигах. Губы, полные и мягкие, как в детстве, уже обретали более четкую линию. Он часто их прикусывал, когда думал, отчего на нижней губе иногда появлялась мелкая засохшая корочка. Подбородок еще не имел квадратной твердости отца. Он был упрямо округлым, с ямочкой посередине – последний дар раннего детства. Линия челюсти, однако, начала прорезаться, теряя плавный овал. На верхней губе и подбородке рос светлый, почти невидимый пух, который он то тщательно сбривал отцовским бритвенным ножом с гордостью, то в задумчивости позволял ему оставаться. Волосы густые, темно-каштановые, с медным отливом на солнце. Он стриг их коротко, но жесткие вихры на

макушке и у висков постоянно торчали в разные стороны, отчего его голова часто была окружена ореолом из торчащих волос, особенно после снятия шлема или энергичных движений. Он относился к ним с пренебрежением, лишь изредка смачивая и приглаживая перед важными церемониями. Его руки и ноги казались длиннее, чем должны были быть. Пальцы длинные и тонкие, уже сильные от упражнений с оружием и верховой езды, но еще не утратившие некоторой изящности. Он двигался порывисто, резко, то с грацией молодого зверя, то неловко задевая углы мебели своими внезапно выросшими конечностями. Таким он был в четырнадцать, хрупкий и упрямый, неловкий и порывистый, уже носивший в своем изменчивом, незавершенном лице все семена будущего величия.

– Эй, мечтатель, – голос Назики, слегка грубоватый, но уверенный, вывел его из оцепенения. Назика был старше на четыре года, и эти четыре года пролегли между ними пропастью. Он уже участвовал в походах, уже носил на бедре шрам от пьяной потасовки в Субуре, уже смотрел на женщин так, что те краснели и отворачивались.

– Не зевай по сторонам, кабан не будет любезно ждать, пока ты соизволишь его заметить. Он выскочит из зарослей так быстро, что ты и не поймешь, откуда пришла смерть.

– Я не зеваю, – буркнул Публий, стараясь придать своему голосу твердости. – Я осматриваюсь.

– Осматривайся быстрее, – усмехнулся Назика. Его загорелое лицо дышало здоровьем и пренебрежением к младшему кузену.

– И помни наставление отца: «Тот, кто не владеет терпением на тропе, не сможет им владеть и на поле брани».

Публий кивнул, сжимая губы. Его отец, Публий Старший, был для него богом на земле. Его тень, казалось, шла рядом с ними, высокая и прямая. Человек, чья дисциплина была известна по всему Риму, даже среди суровых римских аристократов. Заслужить его одобрение было бы очень приятно, тем более на первой охоте.

– Я все помню, Назика.

Их сопровождали двое вольноотпущенников его отца, старый опытный Мамерк и более молодой Септимий, молчаливый и цепкий, как гончая собака. А также несколько рабов со своей огромных молосских псов. Собаки, приносясь и поскуливая, тянули вперед, чувствуя близость дичи.

Мамерк поднял руку, и все замерли.

– Здесь следы, кабан прошел на рассвете. Старый секач, судя по следу, и не один, с ним свинья и свинята.

Сердце Публия забилося чаще, он вглядывался, пытаясь хоть что-то разглядеть, но видел лишь мох, наросты на коре и прыгающих с ветки на ветку белок. Спустя пару секунд слева Публий увидел, что в просвете между двумя платанами стоял олень. Публий замер и забыл, как дышать. Дело было не в том, что это был просто обычный олень. Зверь был невероятно крупным, его холка была почти вровень с плечом взрослого мужчины. Его шкура была цвета чистейшего снега, ослепительно белой, отливающей в утренних лучах серебром, с огромными ветвистыми рогами. Олень стоял неподвижно, и его большие, темные, влажные глаза были устремлены прямо на Публия. В этих глазах Публий не видел ни страха, ни агрессии, лишь интерес.

– Назика... – прошептал Публий, не в силах отвести взгляд.

– Тихо! – отмахнулся тот, не оборачиваясь, рассматривая следы кабана.

– Но посмотри...

Назика отвёл взгляд от следов и раздражённо обернулся. В этот миг белый олень плавно, словно невесомая тень, развернулся и бесшумно скользнул вглубь лесной чащи.

– Ну, что там у тебя? – проворчал Назика. – Лисица?

– Олень, – выдохнул Публий. – Белый, огромный, я никогда не видел ничего подобного.

Назика фыркнул: – Белый? Публий, ты, наверное, перегрелся на солнце, или тебе помешало, белых оленей не бывает.

– Я клянусь, – горячо воскликнул Публий. – Я видел его!

Мамерк приблизился, его старые, пронзительные глаза перебежали с лица Публия на чащу, куда скрылось видение.

– Что за шум? Вы спугнете всю дичь в трех милях отсюда.

– Мой юный кузен, – с насмешкой начал Назика, – утверждает, что видел оленя-призрака. Белого, как шерсть ягненка.

Лицо Мамерка стало серьезным, он внимательно посмотрел на Публия.

– Это не призрак, господин Назика. Это величайшая редкость. Говорят, раз в поколение он является охотникам. Говорят, этот олень – любимец самой владычицы, зверь Дианы. Охотиться на него опасно, потому что это не просто добыча, а испытание.

– Ну, и ладно, – сказал Назика, но уже не таким уверенным голосом.

– Тем более нечего за ним гоняться, у нас есть реальный, свирепый кабан с реальными клыками, которым мы насытимся за ужином.

Но Публий как будто уже не слышал его, его взгляд сузился до того места, где исчез белый олень. Он чувствовал голос, тягу, зов крови, обращенный в глубину леса.

Публий почувствовал в голове знакомый шепот: «... я жду тебя, иди ко мне...».

– Я должен пойти за ним, – сказал он голосом, полным решимости.

– Это безумие, Публий, – лицо Назики покраснело. – Ты заблудишься, это густые леса без троп, может, ты забыл, что я сейчас отвечаю за тебя.

– Я не заблужусь, я должен идти, я чувствую это.

Мамерк молчал, изучая Публия долгим оценивающим взглядом.

– Воля богов – тайна, господин Назика, – наконец изрек он. – Если юноша увидел знак Дианы, и знак этот обращен к нему, то кто мы такие, чтобы спорить с богиней? Но помни, – он повернулся к Публию, и его взгляд стал острым и строгим, – охота на такого зверя – это не обычная охота, а испытание от богини. Она может даровать тебе великую честь, а может навести на тропу, с которой не возвращаются. Солнце сейчас низко, если к тому моменту, когда оно окажется вот над той скалой, – он указал на далекую каменную гряду, – ты не вернешься к этому дубу, мы идем за тобой.

Публий кивнул, его глаза блестели благодарностью, радостью и предвкушением. Он обменялся последним взглядом с Назикой. Тот лишь покачал головой, сокрушенно вздохнув.

– Ладно, иди, упрямец. Но, клянусь богами, если с тобой что-то случится, твой отец сошлет меня рубить тростник в Помптинских болотах. Так что береги себя.

Публий пошел в чащу и скоро остался совсем один. Первые несколько сотен шагов он шел быстро, почти бежал, опасаясь упустить из виду мелькающую вдали белизну животного. Он слышал стук собственного сердца и хруст веток под своими сандалиями. Не забывая исправно оставлять зарубки на коре дубов и буков острым концом своего копья, но с каждым шагом лес вокруг него менялся, становился все более диким и непроходимым. Вскоре знакомые дубравы остались позади. Его окружали теперь заросли самшита, столь густые, что приходилось продирается сквозь них, а воздух стал тяжелым и влажным, солнечные лучи с трудом пробивались сквозь сплошной полог крон, и мир погрузился в таинственный полумрак. Пахло уже не цветами, а грибами, сырой землей и тленом. Олень не ускорялся, но и не позволял приблизиться, всегда был на расстоянии броска копья, но, когда Публий замирал, чтобы прицелиться, зверь делал одно легкое движение, отступал за ствол, скрывался за выступом скалы, и копьё вбивалось в пустоту. Казалось, олень не убегал, а играл с ним в этом лабиринте из деревьев, листьев, корней и камней.

Публий перестал чувствовать время. Погоня захватила его целиком, вытеснив все – и страх, и усталость, и мысли о Назике и кабане. Он забыл о Риме, о том, что он Публий Кор-

нелий Сципион. Жажда и голод тоже, казалось, отступили. Публий перестал делать зарубки и потерял из виду старые. Местность стала однообразной, а чаща слишком густой. Но он и не думал о возвращении, только о том, чтобы идти вперед. Внезапно олень исчез, буквально испарился. Публий замер на краю небольшой ложины, сплошь заросшей колючим терновником и плющом. Он услышал негромкий, но отчетливый звук падающих капель в каменную чашу воды. И вместе с ним до него донеслось что-то вроде пения или даже тихого, мелодичного шепота. Сердце Публия сжалось от ужаса. Он вспомнил слова Мамерка: «Испытание, посланное богиней». А что, если он привел его не просто в глушь, а к самому ее святилищу? Страх сковал его конечности, но любопытство оказалось сильнее. Собрал всю свою волю, он раздвинул колючие ветви терновника, чувствуя, как они впиваются в его руки, оставляя на коже тонкие алые полосы, и шагнул вперед. Чаша внезапно расступилась, словно занавес. Он оказался в небольшом, скрытом от мира пространстве. В центре зиял вход в грот, темный, влажный, поросший папоротниками. Изнутри доносился тот самый звук падающих капель, теперь гулко отдававшийся под каменными сводами. А прямо перед гротом, под небольшим природным навесом из нависшей скалы, стоял камень. Это был алтарь, очень древний, его прямоугольная форма была высечена грубо, но с очевидной целью создать место для поклонения. На его поверхности проступали едва заметные, стертые тысячелетиями барельефы: бегущие олени, натянутый лук, серп луны. Никаких надписей, никаких явных указаний, чье это место. Но Публий знал, он просто почувствовал чем-то внутри, что это был алтарь Дианы. Богини леса и луны, покровительницы диких зверей и охоты, хранительницы девственных источников и тайн. Забытый, брошенный, но очень могущественный. И рядом с алтарем, неподвижный, как изваяние, стоял белый олень. Его темные глаза были устремлены на Публия, и в них было лишь спокойствие и ожидание. Публий опустил копье, и оно беззвучно утонуло в мху. Мысль о том, чтобы поднять оружие на это создание здесь, в этом месте, показалась ему кощунством и осквернением священного места. Он сделал шаг вперед, потом еще один, его ноги сами понесли его к алтарю. Он чувствовал, как по спине бегут мурашки, а воздух вокруг стал густым, как мед. Публий остановился в двух шагах от каменной плиты. Его взгляд упал на углубление в ее вершине, там лежали несколько засохших, почерневших цветов, обглоданная временем кость какого-то мелкого зверя и горсть истлевших лесных орехов – дары, оставленные здесь, возможно, десятки лет назад каким-то пастухом или забредшим охотником, еще помнившим старые, добрые обычаи. И тут олень, не сводя с него своих темных глаз, медленно, величаво склонил голову и ткнулся мордой в алтарь, как бы указывая на него. Публий, движимый импульсом, шагнул вперед и положил ладонь на холодный, шершавый, влажный камень. В этот миг ветер, которого не было секунду назад, ринулся в кипарисовые кроны, завывая и шелестя. Свет хлынул откуда-то сверху, озарив грот и алтарь серебристым, призрачным, лунным сиянием, хотя на небе стоял ясный день. Публию почудилось, что в глубине грота, в самой темноте, мелькнула тень. Высокая, стройная, женская фигура. Девичья талия, перехваченная ремнем, в руке у нее был лук. Он ощутил на себе взгляд пронзительный, полный дикой мощи и безраздельной власти. Длилось это одно единственное мгновение, затем свет погас, ветер стих, тень исчезла. Но белый олень все еще был там. Он посмотрел, а потом медленно развернулся и скрылся в темноте грота. Публий стоял, прислонившись к алтарю, дрожа всем телом, как в лихорадке, но не испытывал страха.

Публий не знал, сколько простоял так. Его вывел из оцепенения далекий, настойчивый, испуганный оклик: «Публий! Публий Корнелий! Где ты?!»

Он глубоко вздохнул и, прежде чем уйти, снял с пояса свой охотничий нож со стальным клинком и рукоятью из полированного бука, подарок отца на его двенадцатилетие. Затем положил его на алтарь, рядом с теми древними дарами, как знак того, что он был здесь, знак благодарности, знак уважения к владычице.

Он нашел их у старого дуба с расколотой молнией вершиной. Назика ходил взад-вперед, его лицо было искажено беспокойством и злостью.

– Где ты пропадал?! – набросился он на Публия, едва тот вышел из зарослей. – Мы уже пол леса обошли. Я думал, тебя кабан забодал или ты в враг сорвался.

Публий остановился перед ним. Он был исцарапан, в грязи, его некогда белая туника висела лохмотьями.

– Я нашел его, – сказал Публий. – белого оленя.

– И что? Где трофей, убил его? Или он оказался всего лишь старым бараном, вывалявшимся в известке?

– Нет, – покачал головой Публий. – Я не убил его, он был явлен мне не для убийства.

– А для чего же, скажи на милость? – с нескрываемым раздражением и обидой спросил Назика. – Мы потеряли кабана, пока искали тебя, спугнули всю дичь, я чуть с ума не сошел от волнения, а ты тут говоришь загадками.

Публий посмотрел на него, потом перевел взгляд на Мамерка. Старый следопыт стоял неподвижно, и в его глазах читалось понимание.

– Он привел меня к древнему месту, к алтарю, очень старому.

Лицо Мамерка озарилось. – Алтарю Дианы? Значит, легенды правдивы, и он действительно существует.

– Я нашел его, – повторил Публий, и в его голосе прозвучала уверенность.

– И что же ты там делал? – спросил Назика, все еще не веря.

– Я отдал ей свой нож, оставил на алтаре.

Назика ахнул, его глаза округлились от изумления.

– Твой нож, подарок твоего отца? Ты отдал его какому-то старому камню в лесу? Публий, признайся честно, ты в своем уме?

– Это был не «какой-то старый камень», Назика, – голос Публия зазвучал с твердостью.

– Это был ее алтарь, я это понял, и она была там.

Мамерк подошел к Публию и положил ему на плечо тяжелую руку. Его прикосновение было твердым и одобряющим.

– Ты принёс дар владычице леса, это правильный поступок. Самый правильный из всех возможных. Охота может быть не только за мясом и славой. Иногда охота – это встреча с чем-то божественным. И самая большая добыча не шкура на стене, а знак в сердце. Ты вернулся другим, мальчик, и я вижу это.

Назика замолчал. Он смотрел на Публия, и наконец до него стало доходить, что произошло нечто необычное. Его кузен, которого он опекал, стоял перед ним повзрослевшим, изменившимся.

Обратный путь в поместье прошёл почти в полном молчании. Публий шёл, погружённый в свои мысли, снова и снова переживая каждое мгновение у того алтаря. Он не слышал ворчания Назики по поводу неудачи и насмешек рабов. Вечером, уставший, но не чувствующий физической усталости, он сидел в атриуме. Его отец, вернувшийся из Сената, выслушал сжатый, немного сбивчивый отчёт Назики.

– Итак, – обратился он к Публию, его холодный взгляд буравил сына. – Ты утверждаешь, что видел белого оленя, священного зверя Дианы, и нашёл её забытый алтарь?

– Да, отец.

– И вместо того чтобы добыть редчайший трофей, что прославило бы твоё имя, ты оставил на этом алтаре свой нож, мой подарок?

– Да, отец. Это казалось мне единственно верным.

Публий старший долго смотрел на сына. В атриуме было тихо, слышалось лишь потрескивание углей в очаге и стрекот цикад за стенами.

– Странная охота, – наконец произнёс он. – Ни славы, ни добычи, только порванная одежда, царапины и потерянное оружие.

Публий младший опустил голову, готовый к упрёку.

– Однако, – продолжил отец, и в его голосе послышались неожиданные, мягкие нотки, – охота, как и жизнь, не исчерпывается практической пользой. Ты проявил упорство, отважился пойти своим путём, вопреки советам старших. Но главное – ты проявил благочестие. Ты признал святость места и почтил богиню, даже когда это шло вразрез с сиюминутной выгодой и воинской славой, – он сделал паузу, – уважение к богам – основа нашего рода и основа Римской Республики. Без него все наши легионы, все наши законы ничто. Возможно, – и здесь он встал и подошёл к Публию, – Диана даровала тебе сегодня куда больше, чем просто оленью шкуру. Возможно, она даровала тебе своё внимание. А благосклонность богов, пусть и самой дикой и непредсказуемой из них, – это сокровище, которое стоит дороже любого трофея.

Отец положил руку на голову Публия: – Не всякая битва, сын мой, ведётся на поле брани. Не всякая победа измеряется в трофеях, запомни это, теперь иди и отдохни.

Публий поднялся в свою комнату. Луна была почти полная и заливала серебристым светом его скромное ложе. Он лег, но сон не шел. Он смотрел в окно на темный силуэт леса на горизонте. Там, в его священной глубине, стоял древний алтарь, и на нем лежал его нож. Он не знал тогда, стоя на пороге своей великой судьбы, что эта первая, неудачная с точки зрения римской практичности охота, станет камнем в основании его легенды. Он не знал, что в будущем, перед битвой при Тицине, в ужасе и хаосе разгрома, он будет вспоминать не речи отца о дисциплине, а тот серебристый свет в священной роще и чувство безотчетной уверенности, что его ведет высшая воля. Он не знал, что перед решающим сражением при Заме, в знойной африканской ночи, он будет взывать не только к Юпитеру, но и к той, чей алтарь он нашел в лесах Лация, к Диане-охотнице, Владычице зверей и судеб. Охота Дианы не дала ему трофея для пира, но она дала ему первую, смутную, но непреложную веру в свою особенную судьбу. Веру, которая впоследствии заставит его, юного и дерзкого, в одиночку бросать вызов судьбе в Куриях, повести легионы к стенам Нового Карфагена и, в конце концов, сокрушить величайшего врага Рима, Ганнибала, неся с собой незримое, но прочное благословение богини, встреченной им однажды в туманных и таинственных лесах его родины. И Публий, сам того не ведая, только что сделал первый шаг на пути, который приведет его к величайшей славе и титулу, под которым он войдет в историю – Африканский.

Сон не шел к Публию. Он лежал на жесткой койке, уставившись в потолок, где лунный свет, пробивавшийся через решетчатое окно, отбрасывал движущиеся узоры. Но видел он не потолок, а ослепительную белизну оленя, темный грот и шершавую поверхность древнего алтаря, а воздух в его комнате все еще казался ему густым, как в том святилище, и на ладони будто бы сохранилось ощущение холодного камня. Слова отца, столь неожиданно одобрительные, грели его изнутри, но не приносили успокоения. «Благосклонность богов» звучало весело, но как-то мертво, а он чувствовал живое прикосновение и зов. Он всегда чувствовал свою близость к богам, странное родимое пятно в виде змея, рассказы матери Помпонии о видениях до его рождения и шепот в голове. Но там, в гроте, он почувствовал что-то новое и более осязаемое.

На следующее утро, едва первые лучи солнца позолотили вершины холмов, Публий был уже на ногах. Он не знал, куда и зачем идет. Его ноги сами понесли его прочь от поместья, от голосов просыпающихся рабов, от запаха еды, прочь от всего привычного и понятного. Он не взял ни копья, ни ножа, он искал дорогу назад, к гроту. Обнаружить тропу снова оказалось делом сложным. Лес сегодня словно сопротивлялся, запутывал, подсовывал ложные тропинки, ведущие в глухие заросли или на край оврагов. Публий блуждал несколько часов, отчаиваясь и снова находя в себе силы идти дальше. И когда он уже готов был сдаться, измученный и

покрытый потом, то наткнулся на едва заметную тропу, протоптанную не людьми, а какими-то животными. И он понял – это оно, именно эту тропу он и искал. Чаша сомкнулась перед ним, знакомая и неприступная. С тем же усилием, раздирая в кровь руки, он раздвинул колючие ветви и шагнул вперед. Его сердце дрогнуло, он снова был здесь, и здесь ничего не изменилось. Тот же изумрудный мох, те же деревья, тот же темный грот и древний алтарь. Тишина, нарушаемая лишь ритмичным падением капель. Он сделал шаг к алтарю, и его взгляд упал на углубление, где его нога не было. Вместо него лежала свежая ветка кипариса и несколько темно-синих, почти черных лесных ягод. Кто-то был здесь, после него. Внезапно Публия охватило ощущение, что за ним наблюдают. Он резко обернулся, на краю поляны, в тени старого дуба, стояла девушка. Она не была римлянкой, это было ясно с первого взгляда. Ее волосы, цвета воронова крыла, были заплетены в одну длинную, толстую косу, перехваченную простым кожаным ремешком. Лицо с высокими скулами и прямым носом не знало ни белил, ни румян римских матрон, оно было смуглым от солнца и ветра, живым и невероятно выразительным. На ней было простое платье из небеленого льна, доходящее до колен, а на ногах – мягкие сапожки из оленьей кожи. В руках она держала небольшой плетеный короб, полный трав и кореньев. Но больше всего Публия поразили ее глаза, огромные, миндалевидные, цвета спелого лесного ореха. В них не было ни страха, ни удивления, словно она ждала его здесь все это время. Они молча смотрели друг на друга, между ними будто что-то сгустилось, зарядилось тихой, мощной энергией. Публий, привыкший к болтливым дочерям соседей патрициев, к их наигранному кокетству и расчетливым взглядам, был ошеломлен. Перед ним была сама природа, дикая, чистая, не нуждающаяся в словах. Она первая нарушила молчание, ее голос был низким, мелодичным, похожим на журчание ручья.

– Ты вернулся, я знала, что ты вернешься.

– Ты... ты кто? – спросил Публий.

Она сделала несколько шагов вперед, двигаясь с грацией дикой кошки. Ее взгляд скользнул по его порванной тунике, по царапинам на руках.

– Меня зовут Аврелия, я из народа сабинов. Мои предки жили в этих лесах, когда твой Рим был еще деревушкой на болотах. – Она подошла к алтарю и положила руку на камень рядом с веткой кипариса. – Я служу Диане, хранительнице этого места.

Жрица Дианы, значит, он был прав. И это она оставила эти дары, забрала его нож.

– Мой нож, – начал он.

– Он в безопасности, – тихо сказала она. – Он принят, твой дар был искренним, а она чувствует такие вещи.

Публий подошел ближе. – Я видел его, белого оленя. Он привел меня сюда.

Аврелия кивнула, и в уголках ее глаз заплясали лучики смешинки. – Его зовут Аргос. Он – глаза и ноги богини в этом мире. Он приводит сюда только тех, кого она хочет видеть. Обычно это напуганные пастухи, заблудившиеся дети или те, в чьих душах она видит отблеск своей собственной, дикой сути. Она привела тебя сюда не для охоты, римлянин.

– Публий, – поправил он шепотом. – Меня зовут Публий Корнелий Сципион.

– Публий, – произнесла она его имя, – Она привела тебя сюда, чтобы показать тебе твою душу. Ты ищешь ее в погоне за зверем, в жажде славы. Но то, что ты ищешь, внутри. Дикая, свободная душа, которая нуждается в святилище. Таким же тихом и неприкосновенном, как это место.

Ее слова попадали ему прямо в сердце и объясняли все. Ту неудовлетворенность, что он всегда чувствовал в Риме, в бесконечных разговорах о политике и войне, в предопределенности своего пути. Ту жажду чего-то настоящего, чего-то вечного, что он впервые ощутил здесь, у этого камня.

– Откуда ты это знаешь? – спросил он.

– Потому что я вижу это в твоих глазах, – просто ответила Аврелия. – Они такие же, как у него. У Аргоса, голодные и одинокие.

Они стояли друг напротив друга, разделенные всего парой шагов, но между ними была разница в культуре, традициях их народов. Римский патриций и сабинянская жрица. Но в этот миг этих барьеров не существовало. Были только они двое, девушка и юноша, и гулкая тишина святилища, в которой их сердца начали биться в унисон. Аврелия повернулась и жестом предложила ему сесть на мягкий мох у входа в грот. Он послушно опустился рядом с ней. Она открыла свой короб и начала разбирать травы, объясняя их назначение тихим, напевным голосом. Эта мята – от боли в животе, этот корень – для заживления ран, эти листья – чтобы очистить воду. Публий слушал, завороченный.

Он, в свою очередь, рассказывал ей о Риме, о том, как пахнет хлеб из пекарни на их улице, о криках торговцев на Форуме, о том, как тяжело и почетно носить имя Сципиона. Он говорил ей о своем отце, о его строгости и невысказанной любви, о своем кузене Назике, храбром, но недалеко. Он рассказывал то, о чем никогда не говорил ни с кем, а она слушала, кивая, ее умные глаза понимали все без слов. Он узнал, что ей шестнадцать лет, что ее мать была жрицей до нее, и ее бабушка, и все женщины их рода. Что они живут в небольшом поселении в долине, скрытом от глаз римлян, и хранят старые обычаи, поклоняясь Диане здесь, в лесу, который и есть ее истинный дом.

– Римляне построили ей храм на Авентинском холме, – сказал Публий. – Он очень красивый.

Аврелия улыбнулась: – Я знаю, но разве богине луны и охоты нужны стены? Ее храм – небо над головой и земля под ногами. Вы, римляне, пытаетесь заключить богов в свои города, но настоящие боги не любят оков.

Солнце поднималось выше, пробиваясь сквозь деревья и отбрасывая длинные тени. Они просидели так несколько часов. Публий смотрел на Аврелию, на то, как солнечные зайчики играют в ее темных волосах, на тонкие, уверенные движения ее рук, и чувствовал, как в его душе прорастает что-то новое, что-то необычное для него. Публий не решался прикоснуться к ней. Ее чистота и священный статус жрицы создавали вокруг нее невидимую защитную оболочку. Но однажды, когда она протянула ему горсть душистых трав, чтобы он понюхал, их пальцы едва соприкоснулись. Мгновенное, мимолетное прикосновение. И его словно ударило током, по его телу разлилось тепло, а в груди что-то стукнуло. Аврелия отвела взгляд, и он заметил, как легкий румянец проступил на ее смуглых щеках. Она все понимала и, казалось, разделяла его чувства.

– Ты должен идти, – тихо сказала она, когда тени начали удлиняться, предвещая вечер. – Идут сумерки, ночной лес не для тебя.

– Я не хочу уходить, – признался он.

– Ты должен, – повторила она. – Ты римский патриций, а я жрица сабинов. Наши миры как вода и огонь, они не могут смешаться.

– Но мы встретились, – воскликнул он. – Разве это не знак? Разве не сама Диана не свела нас?

– Она свела нас, чтобы показать тебе твою душу, Публий, чтобы дать тебе этот свет, это воспоминание. Не для того, чтобы ты остался, твоя судьба там, – она махнула рукой в сторону Рима. – Твоя судьба велика, я чувствую это. В тебе горит огонь, который может осветить весь мир или спалить его дотла, а мое место здесь: хранить это святилище, эти леса.

Аврелия встала, Публий последовал ее примеру. Они стояли лицом к лицу в сгущающихся сумерках. Серебристый свет заходящего солнца окрашивал ее волосы в цвет старого серебра.

– Я вернусь, я снова найду дорогу сюда.

Она покачала головой: – Не надо, пусть это останется таким, как сейчас, совершенным, чистым. Как источник, в котором никогда не замутилась вода. Если ты вернешься сюда, то в наш мир придет боль. В твой мир придет позор, мы оба знаем это.

Она была права. Он, Публий Корнелий Сципион, не мог связать свою жизнь с дикаркой-сабинялкой. Это унизило бы его род, сделало бы его изгоем. Он не сдержался, протянул руку и коснулся ее щеки. Ее кожа была прохладной и нежной. Она замерла, закрыла глаза, прижавшись к его ладони, и одна-единственная слеза скатилась по ее лицу и упала ему на пальцы.

– Прощай, Публий, – прошептала она.

– Прощай, Аврелия.

Он повернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Публий шагнул в колючую чащу, и ветви сомкнулись за его спиной. Он шел по лесу, не видя дороги. Внутри него была пустота, холодная и беззвучная. Образ Аврелии, ее глаза, ее голос, прикосновение ее слезы надолго останутся в его памяти. Она была права, это была чистая, но недостижимая любовь. Когда он вышел на опушку, уже стемнело, на небе зажглись первые звезды. Он поднял голову и увидел серп луны, символ Дианы, и ему показалось, что это не луна, а прощальный знак. Вернувшись в поместье, он прошел прямо в свою комнату, не отвечая на вопросы встревоженных домочадцев, лег и снова уставился в потолок. Но теперь он видел не просто святилище, а лицо Аврелии.

На следующее утро Назика попытался выведать у него, где он пропадал.

– Я снова искал то место, – коротко ответил Публий. – Но не нашёл.

Назика хмыкнул: – Ну и ладно. Хватит уже бегать по лесам, мы возвращаемся в Рим.

Публий смотрел в окно на темную полосу леса на горизонте. Теперь он знал, что быть мужчиной значит не только владеть оружием и говорить красивые речи в сенате. Это значит нести в себе что-то чистое, непорочное, но идти вперед даже если сердце разорвано на части. Образ Аврелии, жрицы у грота, запомнился ему на долгие юношеские годы. В минуты сомнений, в пылу битв, в душной атмосфере политических интриг, он будет мысленно возвращаться к тому зелёному мху, к звуку падающих капель к алтарю, полному древней мудрости и прощальной печали. Диана дала ему необычный дар глубокого, болезненного чувства. Дар связи с природой в лице её жрицы. Дар понимания, что есть красота, не тронутая цивилизацией, и любовь, не обременённая расчётом. И дар нести эту чистоту помыслов в глубине сердца. Он уезжал из Лация, увозя с собой не только память о божественном знамени, но и о земной, невозможной любви. Эти два переживания сплелись воедино, закалив его душу и подготовив к великим свершениям и великим потерям, что ждали его впереди. Юноша, гнавшийся за призрачным оленем, нашёл нечто настоящее. И навсегда потерял это, чтобы обрести в себе силу, способную изменить ход истории.

Возвращение в Рим стало для Публия погружением в знакомую атмосферу, враждебную после свободы Лацийских лесов. Город обрушился на него громкими звуками и смрадом. Пронзительные крики разносчиков, скрип бесчисленных колес по булыжнику, мычание скота, гонимого на рынок, смех пьяных легионеров из таверны, запах жареного лука, человеческого пота, выгребных ям и дыма сжигаемых на погребальных кострах жертв. Все это в корне отличалось от свободы леса. Рим, вечный город на семи холмах, показался ему кишашим муравейником.

Дом Сципионов, расположенный на Палатине, величественный и полный достоинства, который всегда был для него крепостью и опорой, теперь ощущался как тюрьма. Высокие атриумы с мраморными полами, расписанные фресками с подвигами предков, давили на него грузом. Суровые восковые маски предков, хранящиеся в нишах, казалось, осуждающе взирали на него. Занятия с его наставником Лисием были хоть и интересны по-своему, но как-то уже эмоционально бесплодны. Лисий мог рассуждать о бесстрастии истинного мудреца, о подчинении личного разума вселенскому Логосу, о безразличии к внешним благам и страданиям.

«Боль – это не зло, – голосил он, – это лишь представление, которое можно отвергнуть силой воли. Любовь, ненависть, тоска – все это страсти, омрачающие разум. Освободись от них, и обретешь свободу».

Публий слушал, кивал, цитировал по памяти греческих поэтов, но в душе его бушевали другие бури. Образ Аврелии был для него частью новой сущности, источником, из которого он черпал силы, и одновременно незаживающей раной. Попытка загнать этот ураган чувств в сухие рамки разумного спокойствия казалась ему предательством. Как можно отвергнуть представление о боли, когда эта боль живет в каждом ударе сердца, напоминая о не случившемся рае? Единственным спасением, местом, где он мог выплеснуть накопившееся напряжение, обуздать свою тоску, стало Марсово поле. Этот огромный луг за Северной стеной, посвященный богу войны Марсу, был настоящим сердцем военной и атлетической подготовки римской молодежи. Здесь, под пронзительный свист ветра с Тибра и отрывистые команды инструкторов, Публий чувствовал себя свободнее. Здесь не нужно было говорить, не нужно было думать, а нужно было действовать, двигаться. Именно здесь, спустя несколько месяцев после возвращения из Лация, должны были пройти масштабные конные учения для молодых патрициев его круга. Это было уже не просто состязание или тренировка, а демонстрация доблести и мастерства перед лицом всего римского общества. На трибунах, сколоченных из свежего дерева, собирались сверстники и опытные воины, оценивающие будущих командиров. Были и восторженные, пытливые взгляды матрон, искавших выгодные партии для своих дочерей. Публий, конечно же, тоже очень ждал эти учения и надеялся на свою победу.

Утро выдалось ясным и прохладным. Погода над извилистой лентой Тибра была свежей и прозрачной, но уже предвещала иссушающий зной августовского дня. Марсово поле, обычно пустынное в ранние часы, сегодня кипело жизнью, напоминая муравейник, потревоженный палкой. Сотни юношей в коротких, практичных туниках натирали тела оливковым маслом, чтобы пыль меньше липла к коже, разминали мышцы, проверяли сбрую и оружие. Блестели на солнце отполированные до зеркального блеска медные нагрудники и шлемы, ржали нетерпеливые, горячие кони, взбивая копытами утоптанную землю. Загорелые, покрытые шрамами инструкторы – ветераны десятков кампаний в Галлии и Иллирии – похаживали между рядами, покрикивая на нерасторопных и кивая с редким одобрением самым умелым и перспективным. В воздухе витала смесь запахов конского пота, кожи, масел, пыли, запаха соревнования, амбиций и юношеского тестостерона.

Публий стоял в стороне от общего гула, рядом со своим конем. Это был молодой, норовистый и гордый жеребец по кличке Аквило – северный ветер. Гнедой масти, с гривой и хвостом черными, как смоль, и аккуратной белой звездочкой на лбу, он был подарен отцом в надежде, что укрощение строптивого животного закалит характер сына, научит его властвовать над другими и над самим собой, над своим телом. Аквило был очень своеволен и не терпел фамильярности, сбрасывал неопытных или неуверенных седоков, кусался и лягался, если к нему подходили сзади. Но Публию в нем с первого дня нравилась эта дикая, неукротимая энергия. Между ними установилось хрупкое перемирие, основанное на взаимном уважении и силе.

– Ну что, Сципион, смотри, твой дикарь сегодня опять осрамит твой род перед всем Римом, – раздался рядом знакомый насмешливый голос. Это был его кузен, Назика, уже сидевший в седле своего идеально выезженного вороного жеребца по кличке Нокс – ночь. Назика выглядел картинкой из учебника по военному делу: собранный, уверенный, его поза была безупречна, а доспех, в отличие от простой туники Публия, сиял медью, начищенной рабом до ослепительного блеска.

– Аквило не осрамит никого, кто будет обращаться с ним как с равным, а не как с рабом, – парировал Публий, не отрываясь от проверки подпруги, убеждаясь, что она не перетянута и не болтается.

– Равным? – Назика фыркнул, и его конь, словно вторя хозяину, беспокойно переступил с ноги на ногу. – Конь всего лишь орудие, Публий, как меч или копье, его нужно подчинить, сломать его волю, если нужно, и заставить служить тебе. В этом суть власти над ним.

– Некоторых ломать нельзя, Назика, – тихо произнес Публий, глядя в умные, полные огня глаза Аквилу. – Их можно только приручить, заслужить доверие, и тогда они станут тебе опорой.

– Философия, почерпнутая у твоего греческого учителя Лисия? – усмехнулся Назика, поглаживая шею своего коня, который стоял не двигаясь, как статуя. – Запомни, кузен, на поле боя, когда вокруг свистят стрелы и режут варвары, тебе понадобится не доверие, а беспрекословное, мгновенное послушание. Твоя жизнь будет зависеть от того, повернет ли твой конь по первому щелчку языком или задумается о твоих чувствах. Ладно, удачи тебе и твоему коню. Постарайся не сломать шею в первой же скачке, было бы досадно лишиться наследника Сципионов так глупо.

В этот момент резкий, пронзительный звук серебряной трубы прорезал воздух, заставляя вздрогнуть и людей, и лошадей. Начиналось. Первым испытанием была группа скачек на скорость по прямому, отмеренному колышками участку. Около тридцати всадников, выстроившись в неровную линию, по второму сигналу трубы ринулись вперед. Копыта подняли в воздух густые тучи едкой пыли, сквозь которую с трудом можно было что-то разглядеть. Крики зрителей, подбадривающих своих фаворитов, слились в единый, оглушительный гул. Публий и Аквилу рванули с места резво, даже слишком. Жеребец, почуяв азарт, запах сотен других лошадей и возбужденные крики, попытался сразу взять власть в свои зубы. Он понес, закусив удила, выгнув шею дугой, не боясь сбросить седока и мчался куда глаза глядят. Публий, стиснув зубы, всей тяжестью тела и силой рук пытался его сдержать, вернуть под контроль. Они пришли к финишу в середине группы, оба взмыленные, злые и испытывающие глухое раздражение друг к другу. Публий чувствовал, как горят его ладони, содранные жесткими поводьями, а в ушах стоял звон.

– Ну что, видел? – крикнул ему Назика, легко подъехав на своем вороном. Его конь дышал ровно и спокойно, будто только что вышел из конюшни, а не промчался на предельной скорости. – Где твое доверие? Он тебя чуть не вышвырнул из седла в первую же минуту. Еще бы чуть-чуть, и ты кубарем катился бы по пыли, к восторгу всей толпы.

– Он испугался всеобщей суеты, уверен, такое не повторится, – отрезал Публий, сплевывая на землю горькую от пыли слюну.

Следующим этапом была гонка колесниц. Нужно было на полном скаку объехать змейкой ряд деревянных мет, не задев их, продемонстрировав владение конем и чувство дистанции. Назика выступил безупречно, как по нотам. Его Нокс, плавно, почти танцуя, огибал препятствия, сохраняя ритм. Зрители, среди которых Публий заметил высокую, прямую фигуру своего отца, стоявшего в тени полосатого навеса с группой важных сенаторов, одобрительно гудели. Назика закончил дистанцию, поднял руку в приветственном жесте, и его конь замер, как вкопанный. Настала очередь Публия. Он глубоко вздохнул, пытаясь унять легкую дрожь в руках и вытереть ладони о бедра туники. Он посмотрел на длинные, чуткие уши Аквилу, напряженно вслушивающиеся в каждый звук, на играющие под тонкой кожей мускулы его крупы. Чтобы успокоиться, он вспомнил лицо Аврелии, ее слова о дикой душе.

– Хорошо, – мысленно сказал он коню, отбрасывая прочь все советы инструкторов и насмешки Назики. – Ты не хочешь подчиняться, и я не хочу заставлять. Давай просто сделаем это вместе. Как два друга, бегущих по одному следу, понимающих всё без слов.

Аквилу, к его удивлению, отозвался настороженным, внимательным взглядом. Они рванули к первой метке. Жеребец несся, как ураган, его движения были резки и полны дикой энергии. Но на первом же крутом повороте Публий, вместо того чтобы грубо тянуть поводья на себя, интуитивно перенес вес тела, сжал бедрами потные бока коня, посплав ему едва уловимое,

но чёткое сообщение: «Поворачивай со мной». Аквило откликнулся. Он вписался в поворот резко, с сильным креном, но чётко, лишь на мгновение задев мету копытом и подняв небольшой фонтан пыли. Это было уже небольшой победой. Они пронеслись по всей дистанции, далеко не идеально, но с притягательной грацией, которая вызвала удивлённые возгласы некоторых. Главное, самое зрелищное и опасное испытание ждало впереди. Оно называлось «Бой с троянским конем». На поле выкатили огромное, грубо сколоченное из брёвен подобие коня на низких, неуклюжих колёсах. От его боков и спины во все стороны торчали соломенные манекены, изображавшие вражеских солдат. Задача была сложной: на полном скаку приблизиться к этому сооружению, поразить копьём или затуплённым мечом как можно больше противников, ловко увернуться от ответных ударов, которые имитировались тяжёлыми мешками с песком, раскачивавшимися на верёвках, как маятники, и резко отскочить, не подставив спину. Это было упражнение на ловкость, хладнокровие, мгновенную реакцию и на полный контроль над животным, которое должно было без страха подходить к громоздкой, страшной конструкции и беспрекословно повиноваться самым резким командам. Назик снова показал высший класс. Его Нокс подводил его к нужным целям, замирал на долю секунды, необходимой для точного удара, и так же легко, почти танцуя, уходил от раскачивающихся мешков. Зрители аплодировали, а сенаторы под навесом одобрительно перешептывались. Наконец, настала очередь Публия. Он въехал на стартовую позицию. Аквило нервно переступал с ноги на ногу, фыркал, чувствуя напряжение и странный запах краски от деревянного чудовища. Публий наклонился, приласкал его шею, почувствовав, как под тонкой кожей бьётся пульс.

– Теперь или никогда, друг, – прошептал он. – Покажем, что значит быть свободными.

Они понеслись. Ветер засвистел в ушах, заглушая все остальные звуки. Публий забыл о зрителях и обо всем вокруг. Весь мир сузился для него до трепетавшего под ним могучего тела коня и до деревянного чудовища впереди. Он действовал, полагаясь на реакцию, на животное чутье, о котором говорила Аврелия. Аквило, ведомый едва уловимыми смещениями веса тела седока, легчайшими движениями повода, резко бросался в сторону, к цели. Публий наносил удар, и они отскакивали. Пыль стояла таким столбом, что их почти не было видно. Они работали как одно целое, наверное, как мифический кентавр. Снова не идеально, не без ошибок, но яростно, синхронно, понимая друг друга.

И вот, на самом сложном, финальном участке, когда нужно было, поразив манекен справа, резко, почти под прямым углом, уйти от тяжелого мешка с песком, качавшегося слева, Аквило, делая резкий, почти акробатический разворот, на полном скаку его переднее копыто со всего размаха наступило на незаметный, но крепко сидящий в земле камень, торчавший из утопанной земли. Это была одна, единственная, роковая доля секунды. Могучий жеребец, несущий на себе вес всадника и доспехов с огромной скоростью, споткнулся. Его тело резко, неудержимо пошло вперед, к земле. Раздался испуганный всхрап, полный ужаса и боли. По всему Марсову полю пронесся единый, замирающий, леденящий душу вздох толпы. Даже Публий старший, стоявший с серьезным лицом, непроизвольно сделал шаг вперед, к краю навеса, и его пальцы с такой силой впились в край дорогой тоги, что костяшки побелели. Падение казалось неминуемым, любой другой, даже самый опытный всадник, уже кубарем полетел бы через голову коня, с разбитыми ребрами, сломанной ключицей или того хуже. Но с Публием в тот миг произошло нечто, что не поддавалось законам физики. Он не просто вцепился в гриву или вжался в седло, пытаясь удержаться. Его бедра, как тиски, сжали бока Аквило, корпус, как тростник на ураганном ветру, инстинктивно сместил центр тяжести, компенсируя падение. Публий почувствовал толчок мышц коня, его попытку выправиться, и его собственное тело ответило на эту попытку. Аквило, почувствовав инстинктивную поддержку, идущую от седока, сгруппировался с невероятной, отчаянной силой. И не упал, а совершил почти акробатическое усилие, оттолкнувшись от земли другими тремя ногами, и, спотыкаясь, качнувшись, почти коснувшись могучим грудным мускулом пыльной земли, он выправился. И когда конь,

выравниваясь, еще не успел сделать и шага, Публий, все еще движимый по инерции, выхватил из ножен тренировочный гладиус и на полном ходу, почти лежа на шее Аквило, плашмя, но сокрушительно ударил по последнему соломенному манекену. Солома с хрустом разлетелась в стороны. Они пронеслись еще с десятков шагов, прежде чем Публий, уже возвращая себе контроль, смог осадить взмыленного, дрожащего, покрытого белой пеной, но на удивление послушного жеребца. Он сидел в седле, сам дрожа от выброса адреналина, его грудь вздымалась, как кузнечные меха, сердце стучало где-то в горле, заглушая все звуки. Он огляделся, медленно приходя в себя. На Марсовом поле стояла тишина. Все замерли, как в немой сцене. Инструкторы смотрели на него с открытыми ртами, юноши с выражениями шока, матроны с любопытством. Даже Назика смотрел на него, забыв о насмешках, с глубоким изумлением. Потом тишину взорвали аплодисменты. Сначала редкие, неуверенные, потом нарастающие, крепнущие, переходящие в сплошной, громоподобный гул оваций. И звучали они как признание чего-то выходящего за рамки обычного мастерства, они увидели чудо. Публий медленно повернул Аквило и шагом направился к тому месту, где стоял его отец. Публий старший вышел ему навстречу, отойдя от группы сенаторов.

– Встань, – сказал он спокойно, когда Публий, спрыгнув с коня на одеревеневших ногах, по привычке хотел преклонить колено.

Публий с трудом выпрямился, глядя отцу прямо в глаза, пытаясь прочитать в них хоть что-то.

– Объясни, – коротко, без предисловий, приказал Публий старший.

Публий задумался. Как объяснить необъяснимое? Как описать словами то, что он на несколько секунд перестал быть Публием Корнелием Сципионом и стал единым существом с конем.

– Я не знаю, отец, – честно выдохнул он. – Конь споткнулся, я почувствовал его падение, его страх и просто не дал ему упасть. Вернее, наверное, мы не дали друг другу упасть каким-то чудом.

Отец медленно перевел взгляд на Аквило, который, тяжело и прерывисто дыша, опустил голову и ткнулся горячий, мокрой мордой в плечо Публия, издав тихий, хриплый звук, нечто среднее между фырканьем и стоном.

– Старый Мамерк, – тихо, так, чтобы слышал только Публий, произнес Публий старший, – говорил мне о твоей встрече с богиней в Лации. Он говорил, что она дала тебе свой знак, свое внимание. Я думал, он имеет в виду удачу в бою, покровительство в будущих сражениях. Он положил тяжелую, твердую, как камень, руку на плечо сына.

– Римские полководцы, – продолжал он, глядя куда-то вдаль, поверх голов зрителей, – веками учились подчинять коня, а не дружить с ним. Подчинять природу, обуздывать реки, рубить леса, строить дороги через горы, подчинять народы. Ты же можешь не подчинять, а действовать вместе, сообща. Это опасно, сын мой, потому что это не укладывается в наше обычное привычное поведение. Но, клянусь Юпитером, сегодня это спасло тебе жизнь. И показало всем вокруг, что в тебе, Публий Корнелий Сципион, есть нечто, чего нет в других. Не забывай об этом. Но и не позволяй этой дружбе сделать тебя мягким. Мир, который нам предстоит завоевывать, не терпит мягкости.

Публий старший развернулся и твердым шагом пошел назад, к сенаторам, оставив сына в раздумье.

Вечером того дня Публий сидел один в своей комнате. Возбуждение и облегчение постепенно уступали место глубокой, странной, опустошающей усталости, будто он провел не несколько минут в седле, а целый день сражался в битве. Он снова и снова переживал в памяти тот миг, ощущение потери равновесия, ужас, и затем это странное, могучее единение с Аквило, этот прыжок. Он закрыл глаза и представил Аврелию, ее голос: «Она привела тебя сюда, чтобы показать тебе твою душу. Дикую, свободную и нуждающуюся в святилище». Теперь он пони-

мал эти слова как ключ к самому себе. Его душа проявилась в умении сливаться с животным, чувствовать его порыв, его страх, его волю, становиться с ним единым целым. Дар Дианы, дар понимания природы изнутри, умения слушать ее голос и говорить с ней на ее языке, а не покорять ее извне грубой силой. Он подошел к узкому окну, выходящему во внутренний дворик. На небе, как и в ту памятную ночь в Лации, висел тонкий, холодный серп. И ему снова почудилось, что богиня смотрит на него.

Триумф на конных состязаниях принес Публию лишнюю известность, которая теперь висела на нем, привлекая взгляды, которые теперь сопровождали его на Форуме, в палестрах и даже в святилищах семейных богов. Одни, преимущественно молодежь из незнатных семей, видели в нем человека, отмеченного печатью божественного провидения. Другие, особенно среди старой аристократической гвардии, видели в нем человека, одержимого, отмеченного странными, возможно, даже враждебными римскому духу лесными божествами. Назика, его кузен, после случая с конем замкнулся в молчаливой, холодной враждебности. Его собственное, безупречное с технической точки зрения выступление было полностью затемнено выступлением Публия. Он больше не подтрунивал, но и не заговаривал первым, а когда их взгляды встречались, в его глазах читалось раздражение.

Публий старший, напротив, стал уделять ему больше внимания. Его наставления стали менее общими и более целенаправленными. Он стал брать Публия с собой на встречи с ветеранами Пунической войны, на обсуждение тактики построения легиона в гористой местности, карт неизведанных берегов Испании, сложнейшей организации снабжения многотысячной армии. Спустя неделю после конных учений, когда слухи о «кентавре с Палатина» начали потихоньку обрастать выдуманными подробностями, на Марсовом поле началась новая, ключевая фаза тренировок – рукопашные поединки на деревянных мечах. Поле, еще хранящее следы копыт и колесниц, было разбито на десятки небольших кругов, очерченных на земле белыми, яркими линиями извести. В каждом кругу сходилась пара юношей, облаченных в потрескавшиеся от старости и пота кожаные доспехи, с большими, тяжелыми, овальными щитами-скутумами в левой руке и увесистыми, дубовыми мечами-гладиусами в правой. Давление гудело, дрожало и вибрировало от ритмичных ударов дерева о дерево, от хриплого, сопящего дыхания бойцов, от коротких, отрывистых, как удар бича, команд инструкторов и от сдавленных стонов тех, кто пропускал особенно точный и сильный удар по незащищенному месту. Противником Публия был Тит Квинкций, сын одного из видных военных трибунов, прославившегося в Илирии. Тит был на год старше, широк в плечах, с короткой, мощной шеей и руками, как стволы молодых дубков. Он был известен своей грубой силой и яростным, почти звериным напором в бою. Он не был техничным, изощренным бойцом, но его атаки были подобны ударам тарана, прямолинейными, мощными и сокрушительными. Многие, даже более опытные бойцы, опасались с ним сражаться, ибо схватка с Титом всегда была изматывающей и болезненной, независимо от исхода.

– Ну что, Сципион, – проворчал Тит, вращая плечом и щелкая шеей, его маленькие, глубоко посаженные глаза с презрением скользнули по фигуре Публия, – покажешь нам сегодня еще свои фокусы с лошадьми? Поскачешь на щите, может быть? Только здесь, голубчик, не на чем будет ускакать. Здесь только земля, меч и я. Учти, поддаваться не собираюсь.

Публий не ответил, сделал глубокий вдох, пытаясь войти в то же состояние сосредоточенности, что помогло ему слиться с Аквилу. Но здесь, на земле, с оружием в руках, все было иначе. Там был партнер, пусть и строптивый, с которым можно было найти общий язык. Здесь был противник. Чужой, враждебный, желающий покалечить, унижить, доказать свое превосходство. Первый раунд был полной катастрофой. Публий пытался действовать расчетливо, парировать, изворачиваться, использовать технику, которой его учили. Но Тит с первой же секунды обрушился на него, как лавина, сметающая все на своем пути. Деревянный меч, словно

дубина, обрушился на его щит с такой чудовищной силой, что Публия отбросило на два шага назад, а по руке, держащей скутум, пробежала онемевающая, пронзительная боль, от которой свело пальцы. Второй удар, третий... Публий отступал, его защита была хаотичной, лишенной всякой системы. Он пропустил удар по ребрам, потом по бедру. Боль была острой, жгучей, он слышал одобрительные возгласы сторонников Тита, видел их ухмылки и разочарованное тех, кто ждал от него нового чуда.

– Сципион! – рявкнул инструктор, старый центурион с обрубком уха, – Ты что, на параде в честь Флоры? Бей, черт тебя дери, он же тебя, как девчонку, по всему полю гоняет.

Публий, конечно же, хотел действовать в ответ, но просто не мог. Между раундами он стоял, опершись на колено, тяжело дыша, чувствуя, как по всему телу растекаются горячие волны боли от ушибов. Сквозь звон в ушах он слышал шаги Назики, проходящего мимо, тот бросил ему через плечо с ледяной издевкой: «Что, твои боги покинули тебя? Кончились фокусы? Здесь, братец, нужна римская сталь, а не конские ужимки. Посмотрим, как ты теперь выкрутишься».

Второй раунд был немногим лучше. Тит, уверенный в себе и своей силе, играл с ним, как кот с мышью. Его удары стали еще тяжелее, его ухмылка шире и оскорбительнее. Он явно наслаждался моментом, демонстрируя всем, что «чудо» Сципиона лишь случайность, а в настоящем, суровом мужском деле ему нет места. Публий, пытаясь собраться, пропустил очередной сокрушительный удар по шлему. Дерево оглушительно, с металлическим отзвуком треснуло о медную пластину. В глазах помутнело, взорвалось сонмом искр, в ушах зазвенело, заглушая все остальные звуки. Он едва удержался на ногах, пошатнувшись и чуть не уронив щит. Сквозь нарастающий шум в голове он едва разобрал голос инструктора: «Сципион, соберись, твою мать, не опозорь свой род окончательно». Публий видел, как его отец, наблюдавший с дальнего края поля в окружении других военачальников, холодно отвернулся и о чем-то заговорил с одним из военных трибунов, демонстративно прекратив наблюдение. В начале третьего, решающего раунда, когда Тит, разъяренный самим фактом сопротивления, ринулся в финальную атаку с единственным намерением покончить со всем разом, для Публия время как будто замедлилось. Тит, с коротким, звериным рыком, занес свой тяжелый, дубовый меч для мощного, рубящего удара сверху, удара, который должен был сломать защиту, выбить оружие и убить противника. Публий почувствовал спокойное безразличие. Пустое, как бездна, и в той же мере точное, безошибочное. Его разум вдруг пронзила ледяная игла ясности. Все мысли остановились, все чувства испарились, не осталось ничего. Он увидел траекторию удара Тита. Он видел ее как совокупность массы, ускорения, инерции, точки приложения силы. И он понял единственно возможный идеальный ответ, единственное движение, которое требовалось совершить сейчас. Его собственная рука с мечом двинулась навстречу. Но это не было только его движение, как будто чья-то воля рассчитывала угол, скорость и точку соприкосновения, и эта воля принадлежала не ему. Он парировал удар с такой легкостью, будто отводил в сторону надоедливую ветку, а не останавливал сокрушительный размах противника. И в этот самый миг, когда его учебный клинок встретил клинок Тита, Публий почувствовал запах крови. Но не своей и не крови Тита. А незнакомой, чужой, далёкой. Запах тысячи битв, миллионов смертей, запах, исходивший из глубины веков, из самых основ мироздания, где царил один лишь закон, убить или быть убитым. Это был запах самого бога Марса, бога войны, для которого сражение – работа и сама его суть. Тит, от удара, парированного с невероятной легкостью, на миг застыл в полном изумлении. Его защита на мгновение открылась, и тело Публия, все еще ведомое чужой волей, среагировало само. Его деревянный меч, описав короткую дугу со всей силы вонзился в незащищенный бок Тита, точно между ребер, туда, где лежал кратчайший путь к сердцу и легким. Тит издал сдавленный, хриплый звук и выпустил из ослабевших рук меч и щит, которые с грохотом упали на землю, схватился за бок и, скрючившись, рухнул на колени, давась кашлем, его лицо побелело, как мел, от шока и боли. Публий стоял, тяжело

дыша, глядя на корчащегося от боли Тита. Деревянный меч выпал из его руки, Публий чувствовал тошноту и страх. Инструктор, первым опомнился и подбежал к Титу, помогая ему подняться. Тит, все еще не мог выпрямиться, с трудом переводил дыхание. Когда он поднял голову и его взгляд встретился со взглядом Публия, в его глазах не было ни злости, ни даже обиды, было только удивление.

– Поединок окончен! Победа за Сципионом! – прокричал инструктор. Публий повернулся и, не глядя ни на кого, пошел прочь с поля, оставляя за спиной гул нарастающих обсуждений. Аплодисментов в этот раз не было. Он прошел мимо того места, где стоял его отец, который смотрел на него, но не подходил. Вернувшись домой, в прохладную тишину родового особняка, Публий не пошел в свои покои, а вместо этого спустился в пустой, наполненный сумраком атриум и сел на холодную мраморную скамью у имплювия, глядя на черную, неподвижную воду, в которой тускло уже отражались редкие звезды, видные через отверстие в крыше. Дрожь, пробежавшая по его телу, все не проходила. Он поднял руки перед лицом, разглядывая их при слабом свете вечерней лампы. Это были его руки, но сегодня, совсем недолго, ими двигало нечто иное или кто-то иной.

Прошло несколько недель после поединка с Титом Квинкцием. Синяки и ссадины сошли, оставив после себя желтоватые тени на коже, тренировки на мече он забросил, вызывая недоумение и насмешки сверстников. Его спасением стали долгие, уединенные верховые прогулки за городскими стенами, где только фыркание Аквилы, стук копыт по твердой земле и пронзительный свист ветра в ушах могли хоть как-то заглушить странный шепот в голове, который Публий пока не мог понять, но догадывался, что это был шепот богов.

Однажды утром, за завтраком, состоящим из простого хлеба, оливок и сыра, Публий старший прервал молчание:

– Сегодня в базилике Порция слушается дело Луция, твоего двоюродного дяди. Его обвиняют в присвоении средств, выделенных на восстановление флота после прошлогодней бури у Липарских островов. Сумма значительная, обвинитель – народный трибун Гай Фламиний. Человек нового склада ума, амбициозный, с языком, подвешенным к золоту, как поговаривают. Ты тоже придешь и чтобы без опозданий.

Это был не вопрос, а приказ, Публий подумал, что отец хочет продемонстрировать подрастающему наследнику судебную процедуру, и чтобы Публий начал понимать систему и мог себя защитить. Базилика Порция, одна из первых в Риме, несмотря на свой уже не самый молодой возраст, была полна до отказа, словно перезревший плод, готовый лопнуть. Обстановка внутри гудела, как растревоженный улей, от возбужденных голосов патрициев в белоснежных тогах, всадников в пурпурных каймах, простых граждан в потертых туниках, пришедших поглазеть на зрелище – публичную казнь репутации. Витал запах толпы, едкая смесь человеческого пота, чесночного дыхания, дешевого вина и воска от писцовых табличек, который смешивался с холодным, пыльным запахом мрамора и ощущением власти, что витала под сводами. Публий, стоя в самом конце зала, за последними рядами зрителей, прислонившись к прохладной стене, чувствовал себя неуместно. Он был слишком юн, чтобы иметь право голоса, слишком малозначителен, чтобы его мнение что-то весило в глазах этих взрослых, серьезных мужчин. Он был здесь тенью своего отца, который занял место в первом ряду, среди прочей знати, его спина была пряма, как лезвие, а лицо каменным. На возвышении, в креслах из пожелтевшей слоновой кости, восседали судьи, почтенные, обремененные годами и властью сенаторы. Слева от них, на низкой платформе для ораторов, стоял обвинитель, Гай Фламиний. Молодой, энергичный, с гладко выбритым лицом и густыми, тщательно уложенными волосами. Он был облачен в безупречно белую тогу, и его голос, громкий, поставленный, отточенный на бесчисленных сходках на Форуме, лился, как бурный, мутный поток, сметающий все на своем пути.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.